БОРИС АКУНИН

ЗНАК КАИНА

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

БОРИС АКУНИН

ЗНАК КАИНА

Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
А44

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

Серия «История Российского государства» издается с 2013 года

Оформление переплета — *Екатерина Ферез*

Иллюстрации *Игоря Сакурова, Михаила Душина*

Акунин, Борис

А44 Знак Каина: [повесть] / Борис Акунин. — Москва: Издательство АСТ, 2018. — 128 с.: ил. — (История Российского государства).

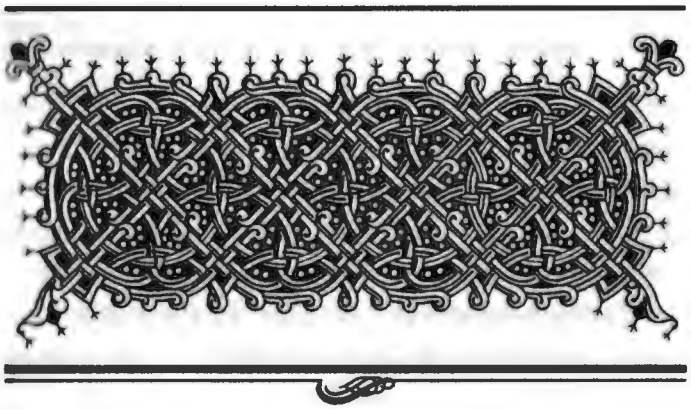
ISBN 978-5-17-104292-9

«Я всегда это знал: я один из всех человеков чувствую боль по-настоящему. Такое мне испытание от Господа. Прочие на пытке и визжат, и бабьим голосом орут, а все притворство. Им бы, как мне, один денек головной болезнью помаяться...» Повесть «Знак Каина», часть проекта Бориса Акунина «История Российского государства», описывает один день из жизни Иоанна Васильевича, царя, прозванного Грозным. Целая страна оказалась в заложниках его безумия, хотя сам он считал, что лишь исполняет высшую волю: *«И делается мне по душевной моей благости умилительно. Вот ведь нередко браню я, неблагодарный, на народ мой, а русский народ всех прочих языков возвышенней, Божьей воле и государю своему покорней. Поляки или немцы, да те же татаре давно взбунтовались бы, не стерпев испытаний — и тем огневили бы Господа, и погубили бы свои души. А мои голуби терпят и мою ярость, и мое окаянство. За то и спасутся».*

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

© B. Akunin, автор, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2018

ОБ НОВЕ МНОГОМУЧЕНИКЕ



— ...А с Пучежа ехано вверх на Юрьевец, и ехали долго, два дня и еще полдня, яко дорога от нехожести вся заросла бурьянами. А поля в той стороне тож все неубраны, деревни пусты, и не встретилось нам за все за два с половиною дня ни единого жива человека. А и Юрьевец, когда доехали, тож стоит запущен. Домы есть, а людей нету, а которые есть — лежат в до́мах мертвы, и на улицах тож лежат, и смрад великий, ибо от сыпного того поветрия, как я уже сказывал, человеки покрываются гнойными язвами и заживо тлеют, а когда издохнут, не жрет их ни зверь, ни птица — брезгуют...

Голос у Федорца скрипучий, дребезгливый, нудный. Будто всверливается в самый мозг с

двух сторон. Ох голова моя, головушка! Ох мука мучительская! Страдал ли кто когда такими страданьями, яко аз, несчастный? Чтоб с самого утра в глазах от дневного света резь, и всяк запах уксусен, и всяк звук мерзостен, и чтоб тошнило, да не проташнивало? Лежать не улежишь, стоять не устоишь. Выехал верхий в поля — лицо ветром обдуть, но в седле тряско, от коня несет кислым потом, копыта по грязи чавкают, словно кто прямо в уши натолкал бумагу и там ее комкает, комкает... А еще Федорца слушай. Идет, терзатель, у конского бока, заглядывает в свою берестяную запись и нудит, нудит.

За что столь жестоко караешь меня, Господи? И головной дневною мукою, и бессонным ночным метанием, и изжогою адовой, и брюшным запором — шестой день живу не опростан, нутро — яко глыба каменна! Еще вот и людишки по всей волжской стороне перемерли, и кто будет сеять хлеб, платить подати?

Да что вопрошать? Ведаю, ведаю, чем я Тебя прогневал. Пес я смердящий, во тьме гордости, невоздержания и всякого злодейства заблудший, Гелиогабала мерзостями своими затмивший. Поделом мне все Твои казни, и даже мало. Потому и не ропщу, принимаю кару Твою со смирением.

– ...И так ехано по волжскому по берегу до Елнать-реки, и нигде никого живого не встречено. Вся тамошняя земля от мора стоит пуста. Пашни брошены, скотину бессмотренну пожрали волки, а люди все по воле Божьей примерли. А за Елнать-рекой, как было велено, переправились мы на заволжскую сторону, стали там смотреть. И в Заволжье мора нету, но случилась там иная напасть, доселе невиданная. Во августе во месяце, когда скоро жито жать, вышла из лесов на поля малая мышь, бессчетными сонмищами. И, сказывают, стала вся земля от края до края от мыши сера и шевелиста, ибо ползла та мелкая тварь сплошной сплошнотой, и пожирала всякую травинку и всякий колос, и остановить ее не было мочи. Так ползла она день и еще день, обглодала все жито до корешка, и сошла в Волгу, и перетопла, а людишки все разошлись неведомо куда, ради гладной нужи спасения, чтоб пустобрюхи не помереть, но никто не спасся, ибо хлеба не было нигде. Которые на правый берег переплыли — померли от сыпного мора. Которые убегли в леса — тех порезали лесные язычники. И ныне на Волге безлюдно, что по той стороне, что по этой...

Неужто я хуже фараона, Господи? На него ты насылал жаб, кои излезоша из вод и покрыша

землю Египетскую, но не карал мышью всепожирающей. Что жабы? Поквакали да сгинули, а пустые бесколосные поля, бестравные луга — случалась ли на земле кара страшнее? И голова болит, голова...

— ...А в Быкове-городце встретился нам только один человек, и тот был безумный. Кричал про тебя непотребное, и за то убили мы его до смерти, так что и в Быкове ныне никого нет. Только в городе в Костроме, переправившись обратно, видали мы малое количество живых. Из прежних шести тыщ остались после мора стодванадесять человек, горько плакася и не зная, чем зиму зимовать...

Умолкни, палач! «Зззиму зззимовать» — как спицей раскаленной в висок! Яко у многомученика Иова всякий вздох мой тягостен, всякий миг исполнен яда!

И вдруг является мне видение. Будто возношусь я в небо, под облака, и вижу оттуда всю Русскую землю. Города в ней — как муравейники, села — как серые пятнышки. И копошатся там букашки-муравьишки, без толку и смысла, и пищат писклявыми голосишками. Всё-то жалуются, за животишки свои боятся, перебирают кто меж ними жив, а кто помер, и плачут, плачут, а многие и ропщут.

Эх вы, букахи малые, неблагодарные! Эх вы, сироты неразумные! Не понимаете, что мною одним живы. Вот сжалится надо мною Господь, приберет меня многогрешного, и вам всем тоже конец. Давно мне это открылось, только не говорю вам, вас же жалеючи: меня не станет, и света не станет. Будет Страшный Суд. То-то взвоете! А ведь есть средь вас, глупых дураков, такие, кто моей смерти желает. Вчера близ Слободы еще двоих с ножами взяли. Ныне воскресенье, день Божий, и расспрашивать их грех. Завтра спознаем, кем посланы...

Поднимаемся на малый холм, откуда видно всю Слободу, освещенную позднеполуденным осенним солнцем.

Вот он предо мною, мой Град Небесный. Конечно, не тот, из Откровения, у коего стена из ясписа, а сам он чистое золото и стекло (тому быть рано, и не мне, убогому, его строить), а все же мой град — лучший из возможных на сирой земле.

На Слободу всегда смотреть утешительно, но ныне от муки телесной, от терзания души, от дурных вестей и это милое зрелище не в радость.

А Федорец все вкручивает, все всверливает, все каркает.

— ...Пуста стоит твоя земля, государь. Орать ее некому, дани собирать не с кого, нигде хлеба краюхи не сыскать. Весь край тот обескровленный...

Каррр, каррр, каррр!

Нет больше мочи слушать! Заткнуть, заткнуть ворона!

У меня в очах, и без того смутных, густеет, чернеет лютая ярость, рука сама выдергивает из-за пояса татарский кинжал. Перегибаюсь с седла, хватаю Федорца левой рукой за темя и вонзаю клинок прямо в поганую пасть — по рукоятку, с красными брызгами и зубными осколками.

— Кляп те в грызло, ворон!

От собственного крика в голове будто взрывается пороховая мина — и я хриплю от боли.

Федорец тоже хрипит. Глазные яблоки у него выпучиваются, опускаются зраками книзу — на выросший из-под носа дивный рог, ибо у кинжала рукоять резного турьего рога, обвитая златою нитью.

Ишь, удивился!

Малость похрипев, Федорец булькает, а глаза закатывает под самый лоб — и до того его рожа

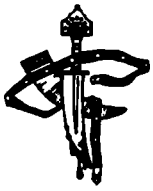
потешна, что мой гневный рык переходит в хохот. Я смеюсь, не могу остановиться, и эта тряска, эта судорога вытягивает из меня всю силу, так что не усидеть в седле.

Машу рукой: стелите, стелите!

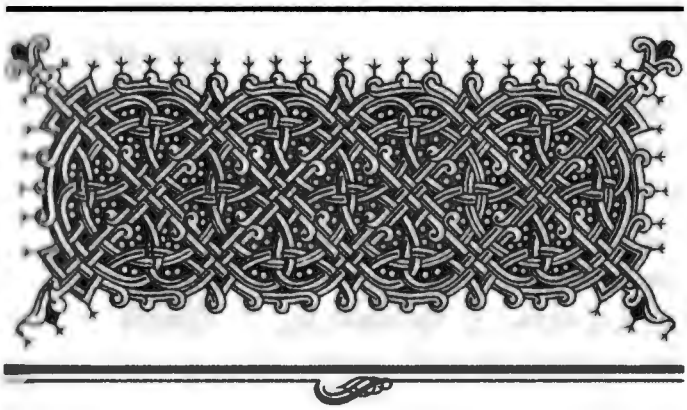
Привычные слуги принимают меня, трясущегося, на руки, мягко кладут на разложенный тюфяк — он всегда приторочен на крупе у ближнего рынды.

Уже на земле, под собольей полостью, я еще какое-то время сотрясаюсь, глядя вверх, на высокое, прекрасное, грозное небо. Туда, туда стремится измученная душа моя, а обрыдлое тело пусть бы себе осталось на земле...

На краткий миг я закрываю очи, а когда открываю их вновь, то я уже не здесь, не на холме, где тревожно галдят слуги и воет октябрьский ветер, а в мире ином, беззвучно тихом.



ОБ ОДОЛЕНИИ ВЕЛИКАНОВ



Но в тихом не отрадно, а страшно.

Я маленький-маленький. Сижу съеженный в великом-превеликом кресле — подлокотник вровень с моим плечом. Я — не я и даже не человек, а кресло никакое не кресло.

Я никчемный грибок поганка, расту на лесном пне. Тяжелая шляпка своим краем закрывает всю верхнюю половину белого света, а в нижнюю ее половину смотреть я боюсь.

Там великаны. Они стоят полукругом и на меня, жалкого и маленького, смотрят. Они чего-то от меня ждут.

Великаны зверолики, свирепоужасны. Башки их огромны, вытянуты кверху трубами; брады

свисают густыми серыми паутинами; очи алчны и злобны.

Сейчас накинутся, сейчас!

Убежать бы, но не пошевельнешься — я прирос к пню.

Позвать бы на помощь, но некого. Я всеми брошен в сем диком лесу, в сей темной чащобе.

— Матушка! Маменька! — хочу я крикнуть, но губы не шевелятся. Я не только бездвижен, но бессловесен. И это всегда так, когда мне снится страшное: не могу ни двинуться, ни крикнуть.

— Вздень подбородок! Глянь смело! Подыми десницу! Восстань! — шепчет мне откуда-то тихий глас. Он единственный мне заступник, но он может только шептать. На него не обопрешься, за него не спрячешься.

Великий страх стискивает мое поганочье нутро. Великаны же все грознее супят косматые брови, переглядываются меж собой. Сейчас сорвут меня с пня! Сейчас растопчут!

А некоторые уж подались вперед. Вот-вот накинутся!

От ужаса я обмачиваюсь. Снизу становится горячо и сыро.

Восстань! — повторяет голос. — Подымись! Не то пропадешь!

Но я безгласен и бессилен, как бессильна и тщетноропотна всяка тленна тварь перед своею Судьбой.

Ты помазан Мною! Встань, не то отвернусь от тебя!

Глас кричит шепотом — оказывается, такое бывает. Это когда средь великого людского множества крик слышен лишь тебе одному.

Меня охватывает трепет. Великаны страшны, но еще страшнее от мысли, что невидимый тихокричащий замолчит и от меня отвернется. Тогда я останусь вовсе никому не нужен.

И я напрягаю все свои силы, я отрываюсь от пня, я встаю. Поганочья ножка дрожит, но не подламывается, руки же у меня обычные, человечьи, и в правой невесть откуда взялся сияющий жезл, от него истекает волшебный свет.

Нападайте, великаны! Я не дамся без битвы!

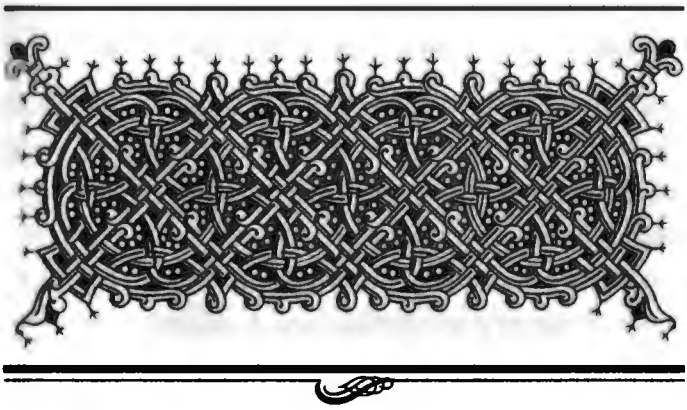
И свершается чудо.

Оттого что я поднялся, я стал выше, а великаны ниже. Они не бросаются на меня, а съеживаются, склоняются, простираются ниц.

Я победил их! Я не поганка! Я пылающий, но неопалимый терновник, озаряющий мрак чащи, яко горит огнем, но не сгораше, и свет мой столь ярок, что на меня больно смотреть!

Я наслаждаюсь своим переливчатым сиянием, и мгновение превращается в вечность.

О РАБЕ БЕССТРАШНОМ



Обычно, очнувшись от сна, открываешь глаза и попадаешь из тьмы в утренний свет, а тут все наоборот: из лучезарного света я оказываюсь в черной черноте и пугаюсь. Страх этот привычный, ночной — когда вскинешься на постели в глухой час и думаешь: неужто всё, Господи, неужто конец? Неужто душа моя отлетела из тела, и се — последняя бездна, про которую речено: «Тьма кромешная, где плач и скрежет зубовный»?

Но сверху надо мной, лежащим, из темноты сгущается еще пущая темнота, круглая. Чья-то голова склоняется надо мной.

— Проснулся, государь?

Малюта.

Так это просто стемнело, пока я спал! Наступил осенний вечер, а может, уже и ночь. Безлунно, беззвездно. Я лежу на тюфяке, укрытый шубой, и надо мной нагнулся Малюта.

Я смеюсь. Я говорю легко:

— А ты думал, Лукьяныч, я помер?

Мне хорошо. Мне очень хорошо. Голова не болит, тело не ломит, тошнота прошла.

Он ворчит:

— Рано тебе помирать. Не всех ты еще верных слуг перегубил. За что Федорца сработал? Чем он перед тобой виноват? Много, что ли, у тебя честных да исправных холопов? Глянь вокруг на твоих опричничков! Шпынь на трутне сидит, пьянью погоняет, а Федорец и вина не пил. Себя на твоей службе не жалел, старался.

Я окончательно просыпаюсь. Вспоминаю: напало неистовство, и оборвал я скрипучий голос ударом кинжала. Еще один грех, еще одна перед Господом вина.

А можно и иначе посмотреть: нет ничего такого, что свершилось бы не по воле Божией. Коли свершилось — знать, так тому и должно.

— Не я это, Малютушка. Бог на Федорца прогневался, руку мою направил. За что — даже я, царь, не ведаю. Где уж тебе знать? Не нами, не

нами судьба человеческая решается. Помоги-тко, Лукьяныч.

Сам Малюта ростом мал, потому и прозвище, но руки у него длинные, сильные. Ловко, а в то же время и бережно он ставит меня на ноги. Ведет к коню. Один рында встает на четвереньки — чтоб мне ногой ему на спину опереться, еще двое берут меня под локти.

Ах, хорошо-то как! Голова ясная, свежая! А еще — вот милость Господня — в брюхе ощущается некое отрадное шевеление и даже рокотание.

— Погодите!

Неужто сжалился Всевышний? Прислушиваюсь к себе. Так и есть!

— Порты с меня, живо!

А порты-то сырые, только сейчас это чувствую. Не приснилось, что обмочился. Со мной часто бывает, если примнится страшное. А страшное мне снится через ночь. Одну ночь вовсе не сплю, а другую — усну, да зрю ужасы.

Ох, облегчение великое! Ох, счастье несказанное! Опростался наконец, слава апостолам!

Слуги обмывают мне гузно, обтирают бархатной тряпицей. Ветерок обдувает — ой ладно, ой любо!

— Эй ты, как тебя. Снимай свои порты, надену, а то мои поганы.

Рында поспешно раздевается, и я натягиваю его портки. Ткань у них грубая, дешевый англ-ский настрафиль — царапает кожу. Зато сухо.

Парень зябко переминается, белея во тьме голыми ногами. Я треплю его по щеке.

— Вернемся — поди к сотнику. Скажи, государь велел тебе дать штуку красного сукна.

Великодушно мне, щедро. Так весь мир и одарил бы.

Многие мудрецы древности, многие святые начетники всяко размышляли о человеческом счастье — в чем оно: в покое ли душевном, в семейном ли довольстве, в отрадных ли свершениях. А счастье — это когда ты выспался, брюхо облегчил и голова не болит. И ведь ни в какой преумной книге сей простой истины не вычтешь...

— Ночью буду молиться, — говорю я Малюте. — И за Федорца помолюсь. Много ль кому на свете такая честь выпадает: от царской руки страдальческий венец принять, а потом еще, чтобы помазанник Божий за спасение души помолился? Все грехи с Федорца снимутся. За меня-то, как помру, такого заступника сыскать будет негде. Отвернетесь все, на прах мой безот-

ветный плюнете, станете про меня небылицы плести: зверь-де был царь Иван, и зваться-де ему в веках царем Иродом.

Обычно, когда я про такое думаю, сердце возгорает яростью, но сейчас гнева нет, только легкая горечь. Ибо и они, будущие мои хулители, тоже умрут и за хулу свою ответят не мне, а Судии более строгому. Тогда-то и раскаются.

— Помолится он, — бурчит Лукьяныч. — Вдове бы лучше пожаловал сельцо или деньгами рублишек сто. У Федорца детей шестеро, теперь сироты...

— О сиротах Бог позаботится. Вели лучше от меня в Троицу сторублевый вклад сделать, чтобы десять лет поминали опричного дворянина Федора... как его?

— Никитина сына Оладьина, — вздыхает Малюта.

Дальше едем молча. С черного холма, по черному полю, на черных конях, в черных опричных плащах, в темноте почти не видные. Едем из кромешности к свету, к чудесному зареву.

Крыша моего дворца сияет в ночи, окруженная огненной короною. И хоть знаю я, что огонь тот рукотворный, душе трепетно. Это стража разводит костры вокруг моего обиталища, дабы было светло, как днем, и дабы ни один злодей не

подкрался к стенам, но размягченному взору мнится: то не царский терем, а сияющий Град Ночной, моя неприступная крепость и нерушимая защита.

Еду, думаю про чудесный сон. Это было не пророческое видение и не сатанинское наваждение, а воспоминание о страшном и великом дне, когда преставилась маменька и меня маленького, семилетнего, в первый раз усадили на трон

одного. Обложили головенку ватой, нахлобучили широкую Мономахову шапку, дали в руку тяжелый скипетр, и я, напуганный, потерянный, осиротевший, с ужаса обмочился. Ужас меня охватил не от престола, на котором я сиживал и прежде, не от Мономахова жаркого венца, а оттого, что на всем свете ныне я один и всегда буду один, и никто никогда не подскажет мне шепотом, когда поднимать скипетр и что говорить. Нету больше маменьки.

Сидел я в Грановитой мокрый, сжавшийся, а внизу стояли бояре в горлатных шапках, и все смотрели на меня и ждали, чтобы я поднялся и воздел скипетр.

Только не кричал мне тогда шепотом никакой голос. А может, и кричал, да я еще его не умел слышать. Однако встал, скипетр воздел и все прочее положенное исполнил. Страшные бояре склонились, я же остался прям. И понял: я — один, над всеми вознесенный. В том великая моя крепость и страшная моя беззащитность.

Сколько лет с тех пор прошло, сколько всего переменилось, но по-прежнему я — один, вознесен надо всеми, и мне нельзя никому показывать свою слабость.

— Скажи, Лукьяныч, а каково это — быть обычным человеком? Не государем? — спрашиваю я у Малюты и с любопытством жду ответа.

Он не может взять в толк, чего я хочу. Крутит косматой башкой — шапка, как всегда, засунута за кушак, ворот нараспашку. Малюта не любит, когда что-нибудь сдавливает голову или шею, а холодно ему, медведюге, не бывает.

— Ну, каково это — быть одним из малых? Из тех, кого тьма-тьмущая? — допытываюсь я. — Вот родился ты, Гришка Скуратов-Бельский прозвищем Малюта, и сызмальства зна-

ешь, что над тобою много людей высших и бóльших, кто знатнее, сильнее, богаче? Не обидно тебе живется?

Задумывается и отвечает не сразу.

— Нисколько не обидно, и я бы с тобой, Иван Васильевич, ни за что не поменялся бы. Вот сколько ты себя помнишь, ты всегда был государь, так?

Киваю.

— ...И куда тебе было подниматься? Некуда. Какую мечту мечтать? Никакую. Выше тебя только Бог, до него все одно не докарабкаешься.

А мне, Гришке Скуратову, было чего желать, было куда карабкаться и ныне, когда вскарабкался, есть чем погордиться. Я мог подняться, мог и упасть. А ты можешь только упасть.

— Ты что несешь, пес? — не впервые изумляюсь я Малютиной отчаянности.

Он лишь весело скалит острые зубы.

— Не бойсь. Для того я и с тобой, чтоб ты не падал. А кто на тебя помыслит худое — вот этими песьими клыками разорву. Ты меня знаешь.

Много стал о себе понимать, думаю я, отворачиваясь. Все повторяется. Истинно рек Еклесиаст, царь Израильский: «Что было, тожде есть, то же будет». Даже наилучшие, наивернейшие слуги хороши до поры до времени, а потом перезревают, портятся и приходится их перебирать, как запревшие злаки.

Самые ценные помощники получаются либо из тех, кто меня до цепенящей судороги страшится, либо из тех, в ком страха нет вовсе. Вторые драгоценней, ибо очень редки, но беда в том, что они-то обычно и портятся. Начинают мыслить себя незаменимыми, льститься уверенностью, что я без них как без рук. И тогда, хоть бывает жалко, приходится сей загнивший член отсекать.

Так было с Адашевым, умнейшим, но и гордейшим из столпов моей младости. Мало ему показалось служить мне десницею, возжелал стать и моею головою, а я, по молодости и неопытности, слишком долго то своевольство терпел.

С Басмановыми, отцом и сыном, вышло интереснее. Один был бесстрашен, другой — боязлив, на том близ меня и держались. Алексей — храбрец, безо всякого предо мной трепета, а Федька — будто лоза гибкая, дрожащая. Возьмешь его шутейно за горло — обмирает, будто девка, розовые щечки становятся белы, зраки в синих глаза черны.

Когда я велел обоих взять в застенок, людишки чего только не повыдумывали. Кто говорил, что я караю Басмановых за польскую измену, кто говорил — за крымскую, а третьи — будто за злодейское на мою особу умышление. На самом же деле это я побился с Малютой об заклад: кто кого зарежет, чтобы спастись — Алексей сына или Федор отца? Я поставил свой индийский алмазный перстень на трусливого Федьку, Лукьяныч — половину своих поместий на бесстрашного Алексея. Думал, дурак, что обогатится.

Поначалу я собирался Басмановых только попугать. Поставил их перед собою. Положил на

стол нож. Говорю сначала Алексею: «Желаю испытать твою мне верность, яко Господь испытывал верность Авраамову. Возьми сына своего Исаака и принеси во всесожжение. Зарежь Федьку на моих глазах, и впредь будешь первым при мне помощником. Над всей державой тебя поставлю». А Федьке никаких наград сулить не стал. Сказал просто: «Хочешь жизнь свою спасти — зарежь отца. Не то готовься к лютой, жестокой казни».

И махнул рукой, чтобы обоих одновременно развязали.

Федор сразу к ножу кинулся. Алексей же только поглядел на меня, да скривился. «Поганый ты, — сказал. — И служить тебе погано. Лучше сдохнуть».

Если б он промолчал, я бы Федьку остановил, а тут обидно стало. И зарезал Федька отца, за что потом и понес должную муку, ибо нельзя это: сыну на родителя руку поднимать.

Я же, отойдя от обиды на Алексееву неблагодарность, много над Малютой смеялся: кто-де лучше человечью породу знает? За науку отписываю с тебя половину твоих деревенек. А он мне: «Ты, может, и умней, да и я не внакладе. Теперь, без Басмановых, я близ тебя первый буду». Вот он какой, Малюта — дерзкий.

Беспременно надо, чтобы рядом был раб прехрабрый, кто служит не за страх. Однако нельзя и забывать, что такой слуга подобен прирученному медведю. Однажды может встать на дыбы и ощерить пасть.

Я кошусь на Малюту, а ему нипочем — ухмыляется.

— Что глазами жжешь, Иван Васильевич? Или зарезать меня хочешь, как Федорца зарезал?

Подъезжает вплотную, подставляет открытое горло:

— На, режь. Не жалко.

Натягиваю поводья. Останавливает своего коня и Лукьяныч.

Мне любопытно:

— Ты что же, вовсе не боишься смерти?

— А чего мне ее бояться? — Он беззаботно дергает широченным плечом. — Иль ты мало смертей повидал? Пока терзаешь человека, он орет, корчится. А как испустит дух — успокаивается, делается благ и тих. Знать, ему там лучше, чем здесь.

— И муки не боишься? — спрашиваю я. — Вот если тебя медленным огнем жечь?

Малюта достает из поясного кошеля кресало, разжигает трут. Прикладывает тлеющий конец к

своей ладони. Остро пахнет жженым мясом, а Малюта знай улыбается и глядит мне в глаза.

— Брось! Вонько!

Вырываю трут.

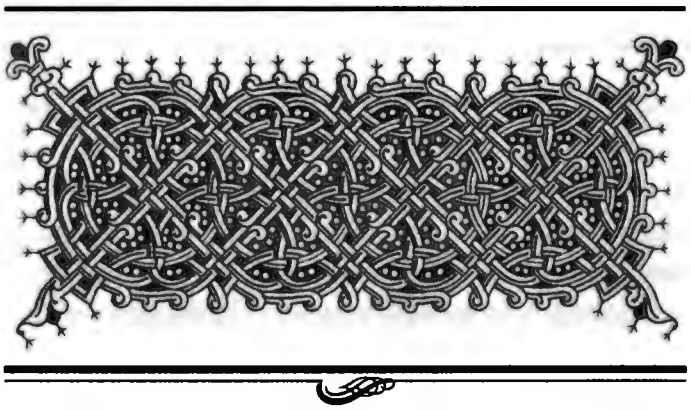
Я всегда это знал: я один из всех человеков чувствую боль по-настоящему. Такое мне испытание от Господа. Прочие на пытке и визжат, и бабьим голосом орут, а все притворство. Им бы, как мне, один денек головной болезнью помаяться...

Вот Малюта жжет себя — и не прикидывается, что больно. Тем и ценен, что честен. Пусть поживет пока.

— Обмотай тряпицей, а после покажись немцу Елисею, — говорю я заботливо. — Не то рука загниет, а она мне нужна. Ладно, едем.

Вот они уже — врата моей мирной обители, спасительного моего Острова. Сами распахиваются навстречу.

О ТИХОМ ОСТРОВЕ
МЕЖ БУРНЫХ ВОД



За ними открывается широкий двор, залитый багряно-желтым от многая огней сиянием.

Таким же ослепительным озарением явилась ко мне некогда мысль: ради спасения бессмертной души и бренной плоти укрыться от людской злобы и вражьих происков, от московских сонмищ и греховной суеты в некоем тихом месте. А перед тем, ночью, было мне сонное видение.

Будто я — утлый челн средь бурных вод, уязвительный от острых скал, от морских чудищ, от неистовых бурь, и погибель моя неизбежна, но на краю моря-океана разливается утешительный свет, и править надо туда, ибо там Остров, где я обрету успокоение.

Все утро я ломал голову над загадочным сном, а потом вдруг разверзлись очи, и я понял!

Успокоение — там, где покойно. А покойно мне было только в раннем детстве, когда бывал с матушкой вдали от темных и тесных кремлевских переходов, на приволье Александровской слободы. Там еще батюшкой поставлен легкий и веселый летний дворец, а близ него три чудесных храма, где так умилительно возносилась детская невинная душа во время служб и молебствий. Там, там, в Слободе обрету я утраченный рай!

Вот как обустроился мой тихий остров меж бурных вод — то последнее виталище, о коем тосковал пророк Иеремия: «Кто даст мне в пустыне виталище последнее, и оставлю люди моя, и отъиду от них, понеже все любодействуют, сборище преступников».

В нетерпении велел я поскорей окружить Слободу стенами. Триста мужиков работали день и ночь. Ради скорости клали не сплошной камень, а ставили деревянные срубы, засыпали землей, а камнем обложили только снаружи, в один слой. Со стороны поглядеть — грозно, а что внутри прах, о том никто не ведает. Мужиков всех потопили в прудах, чтоб не болтали, и за то окаянство молил я у Господа прощения три слезные ночи, а на четвертую был прощен, ибо не

зверства для, не глупой прихотью сгубил триста душ, а ради государственной пользы. Пусть враги страшатся моей твердыни. Все равно истинная ее крепость не в стенах, а в Божием благословении.

Моя слобода поставлена по завету Иезекиилеву, в подобие Граду Господню. Как и там, у меня трое ворот. Северные, мощью подобные Сцилле и Харибде, — для чужих людей: земских бояр и иноземных послов. Южные — повседневные, для своих, опричных и слуг. Восточные всегда заперты, они — для Господня Пришествия, ибо сказано: «Сия врата заключенна будут не отверзнутся, и никто же пройдет ими, яко Господь Бог Израилев внидет ими». А на закате ворот нет вовсе, ибо в великий невечерний день, когда приидет Господь, солнце не угаснет, и заката не будет.

Здесь, на милом моем Острове, я и спасаюсь уже шестой год. Мирно мне здесь, спокойно, лепо.

Москва, премерзкий Вавилон, цветом сера. Даже Кремль, прежде белокаменный, давно стускнел. А мой Остров бел и черен. Над белым поясом стен высятся беленые стены теремов и церквей, а крыши крыты черной черепицей. В том двоецветии великий смысл: тако и на земле обитают белое Добро и черное Зло, но оба они

ничтожны перед Божьей волей, высоко над всем вознесенной — как вознесены над Слободой летучие золотые купола с крестами.

Однако в ночное время мой Остров не бел и не черен, а огнен. Я медленно еду между костров и факелов, крестясь во тьму на три стороны, трем церквам: Покровской, Троицкой и Распятской. Блестит железными колпаками стража, сверкают острые бердыши, тлеют зажженные фитили. Пятьсот опричных молодцев каждую ночь стерегут мой сон. Только где он, тот сон? Прошлой ночью не смежил вежд, не буду спать и нынче. Там, на холме, под ветром, бездомно и бескрышно несколько часов поспал, и то счастье.

Еду мимо Пытошного приказа, где на колах еще дергаются и мычат давешние псковитяне, что взяты по литовскому изменному делу. А в подвешенных клетях с прошлой недели гниют мертвые Лобановы: сам вор Мишка, его жена, дети, слуги и холопы, все их гадючье племя.

Вдыхаю особенный запах Слободы, какого нигде больше нет.

От церквей тянет свечным воском и ладаном.

От костров — дымом и смолой.

От Пытошного приказа — трупным смрадом.

Град мой цветом черен и бел, с златой искрой поверху, воздухи же здесь троевонны: сладкое

благокурение для чистой души, чадный огнь ради Страха Господня, мерзкий тлен для бренного тела. Помни, грешный человек, что из праха ты сотворен и в прах обратишься. Трепещи Геенны пламенной. Но не теряй и надежды на спасение, на иную блаженную жизнь — вот тебе ее ароматное дыхание.

Кто умеет понимать — понимает. Но таких мало.

Вот Антоний Женкин, посол Лизаветы Английской, в перехваченной тайной грамотке отписывал своей королеве, пошлой девице, что-де, быв в «резиденце» у «кинга Джона», сиречь у меня, в Александрове, едва не стошнился, так-де там мертвечиной провонено, и Слободой моею брезговал, а про меня, собака, написал, что я-де подобен Ваалу, питающемуся человечиной. И впал я, те враки прочтя, в гневное неистовство, и забился судорогой, и повелел английский двор разметать, слуг побить, а самого Женкина повесить на воротах вверх ногами, над навозной кучею, чтобы, издыхая долгой смертью, понюхал истинно смрадного. Но Малюта держал меня за плечи и говорил, что ссориться с Лизаветой нам нельзя, а можно придумать лучше. И придумал. Хорошо придумал.

Мне потом очевидный человек рассказывал — свой опричный дворянин, нанявшийся к

англичанам в слуги, чтобы за ними доглядывать. Я слушал — хохотал до икания.

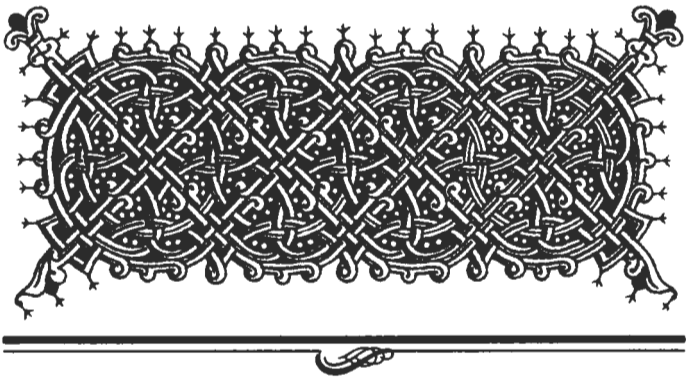
Сел Женкин трапезничать по своему английскому обычаю. И подают ему ихнее англи́йское варево. Лезет он туда ложкой, гущу зачерпнуть — и выуживает отрезанное ухо, но за разговором не глядит, что вынул, и даже надкусывает и лишь потом, узрев, вопит в ужасе и облевывает всю скатерть. Про это я велел трижды пересказать, повторяя: «Так кто из нас, Антошка, человечину жрет — я иль ты?»

Улыбаюсь, вспомнив, и сейчас, но не злорадно, а умилительно. Бог — он все видит, и неправому за неправду всегда воздаст.

На душе возвышенно, и я бережно, будто полную до краев чашу, несу в себе это светлое чувство.

Буду молиться. Ах, как хорошо я сегодня буду молиться!

О ПРОСВЕТЛЕНИИ



Иду в скарбяницу и велю себя переобла-чить.

Слуги снимают с меня распашную ферязь на собольей подбивке, разматывают парчовый кушак, принимают златотканый кафтан, потом шерстяной зипун, потом шелковую рубаху. Стягивают алосафьяновые сапоги, чужие грубые порты.

Стою перед иконами наг, в одном нательном кресте. Все те одежды мирские, для моления негодные. Сказано у Иезекииля: «Да оденутся в одежды льняные, и увясла на головах их должны быть льняные, и исподняя одежда на чреслах их».

Потому для службы подают мне особое облачение, черного крашеного льна: нижние порты и рубаху, сверху рубище, на голову — куколь с черепом и костями.

Смиренным чернецом, прижимая к груди тяжелый игуменский крест, влачусь я через багровый двор, меж рядов стражи, и глаз пока не подымаю, гляжу только под ноги. Шепчу: «Грешен, Господи, паки грешен», — и так триста тридцать три раза. Повторяю покаянные словеса все время, пока не поднимусь по крутой лестнице, подолгу останавливаясь, на Распятскую звонницу.

Дюжие звонари уже раскачали било, но колокола еще не звонят. Это мое, игуменово дело. Я принимаю тугое вервие, наваливаюсь — и рождается могучий, сначала тихий гуд. С каждым толчком он делается громче, торжественней, победительней.

«Се я, Господь ваш! Зову вас к служению! Приидите и славьте меня!» — зову я братию гласом великим, зычным, слышным на много поприщ. Мне рассказывали, что посадские жители и крестьяне по деревням, заслышав из Слободы ночное колокольное глаголанье, пугаются и крестятся. Так оно и должно быть.

Устав, я передаю веревки звонарям, а сам смотрю, как к храму со всех сторон тянутся малые огоньки, будто заблудшие души. Это мои деточки, опричная братия, восстав от сна и тоже обрядившись в черные рубища, спешат на ночное моление в Покровский храм, у каждого в руке зажженная свечка.

Сколь много думано за минувшие годы об истинном государстве! Сколь много положено трудов!

Я единственный из государей, кто живет Богом и кто понимает: земное царство должно строиться по примеру Царства Небесного, где единый Господь, близ него архангелы, под ними ангелы, а еще ниже — спасенные души. И ведь явлен еще древними благодетельными отцами образец для посюсторонней жизни: монашеская обитель, где правит игумен, а ему помогают иеромонахи, где черноризная братия исполняет послушания, а монастырские крестьяне иноков кормят, дабы молились за спасение всех сущих душ.

Тако и я хотел бы устроить мою державу, и немало уже сделано, невзирая на противление злосердных и ропот скудоумных.

Моя Слобода — драгоценное семя, из которого потом произрастет могучее древо обхватом во всю Русь. Не при мне, слабом и грешном, а, может быть, при моем внуке. Тогда православный государь будет царем-пресвитером, архимандритом над всерусским монастырем. И всяк человек в том ладном общежительстве будет на своем месте — кто правит, кто помогает, кто молится и кто трудится. И все до единого спасутся. Может быть, и меня, страдного, давно уже истлевшего, наконец поймут и помянут добрым словом...

Пока же вот: есть я, Александровский игумен, и есть моя черная братия, несколько сотен иноков. На сей малости вся Русь и стоит, ею одной и держится.

Спускаюсь с колокольни вниз — опять небыстро, останавливаясь и дожидаясь нового дыхания. Когда-то был я силен и неутомим, но в трудах и в грехах порастратился. По воле Божьей в сорок в один год сделался будто дряхлый старик, но не ропщу и не жалуюсь, а принимаю телесную немощь свою со смирением.

В храм вхожу через золоченые Васильевские врата, недавно вывезенные из Новгорода, где сим чудом похвалялась их новгородская София. Но такой красе не место в обреченном городе, ибо он проклят Господом, и аз, подобно всаднику Апокалипсиса, был прислан то проклятье исполнить.

Вся братия уже собралась, ждет. Храм черен от остроконечных куколей, и все они склоняются предо мной, игуменом, а я ласково крещу, благословляю своих чад.

Начинаем с песнопения. Хор певческих дьяков — у каждого голос райского звучания — заводит гимн архангелу Михаилу, сотворенный мной в миг высокого вдохновения.

Пою и я, подняв увлажненные глаза к расписному своду. Пою о неминуемом смертном часе.

Молю ти ся, святый ангеле,
Яви ми свой светлый зрак
И весело воззри на мя окаянного
И тихо напои мене смертною чашею...

Пою о прощении за все мои тяжкие грехи:

Всех ангел престрашен еси, святый ангеле,
Не устраши мою душу убогую,
Наполненну злосмрадия,
И очисти, и престави ю престолу
Божию непорочну...

Пою об одолении и покарании лютых врагов моих — левокрестящегося богохульника Жигмонта польского, ненавистника Ягана свейского, безбожного Девлета крымского, а паче всего лживых и лукавых рабов моих, кто льнет и ласкается, а сам таит в сердце измену и в рукаве нож.

Господи Исусе Христос,
Излей миро, яко благ и человеколюбец,
На раба твоего Ивана,
И запрети всем врагам, борющимся со мною.
Сотвори их яко овец,
И сокруши их яко прах пред лицом ветра...

Еще прошу слезно у Господа поддержать меня, слабого, и послать мне некий явный знак, что я Ему люб, что не покинут в одиночестве. Давно уже не было никакого видимого, несомненного знамения Божьей милости, не было шепотного крика, не было наставления — как мне сиротствующему жить.

Напоследок, как положено, молю защитить меня от соблазнов Сатаны, прельстителя душ, который насылает на человеков свои прелестные видения, и упаси Христос принять те ложные прелестия за Знак Божий.

Допев гимн и почитав собранию Книгу Иеремии («Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать»), я спускаюсь от аналоя к братии.

Пав на колени, начинаю бить земные поклоны, горячо повторяя: «Яви знак, яви знак, яви знак!» Девятьсот девяносто девять раз стукаюсь лбом о каменную плиту. На меня нисходит ярая неустанность, движения мои как никогда точны, и я верю, верю, верю, что чудо будет — сегодня же!

Чем больней, чем безжалостней к себе лобное стучание, тем доходчивей молитва.

И все вокруг тоже стучат головами об пол, бормочут. Всяк просит о своем. Мимолетно думаю: вот подслушать бы их истинные моления — но гоню суетную, нековременную мысль прочь. Однажды я повелел всем кричать ихние прошения Господу гласно, но поднялся такой неподобный ор, что повеление пришлось отменить.

Я бьюсь лбом о камень, одной и той же онемевшей точицей, до звона — и вдруг слышу шепот, тоже гулкий, но одному мне слышный: «Буудет, буудет тебе знак. Жди-и-и».

Иль примерещилось?

Перед тысячным ударом встаю, хлопаю в ладоши.

Поднимается и вся братия, выстраивается в два ряда, а я хожу и смотрю, кто как помолился. У истовых лбы разбиты в кровь, или шишкасты, иль с синяками. Таких я хвалю, а иных, особенно к себе суровых, и лобызаю. Но есть и ленивые, чистолобые — и тех я браню, а коекого и охаживаю своим игуменским посохом. Не жалей себя, не жалей, когда радеешь Господу!

У пономаря Малюты на низком челе ни малого следа, но Малюту я не трогаю. У него шку-

ра толстая, а кость упорная, такой башке каменный пол нипочем.

Идем, говорю, брат пономарь. Отдавши Богу Богово, займемся делами кесаревыми.

А Лукьяныч и рад. Он еще утром говорил, что пришла плохая весть из Ливонии, да я, скорбный головой и томный духом, не захотел слушать. И без того было тошно.

— Собирай думу, — говорю. — Ныне мысль во мне ясная, дух светел. Пусть гонец расскажет, что за беда. Потолкуем, приговорим.

Моя опричная Дума не то что московская — к ночным сидениям привычна. Когда я, вновь переоблачившись в царское, вхожу в тронную залу, вся дюжина ближних советников уже там. Тоже скинули рубища, сидят хмурые. Кто крутит на пальце перстни, кто теребит бороду. Знают уже, что за напасть. Один я не знаю.

Слушаю бледного, трясущегося гонца, проскакавшего семьсот поприщ, и дивлюсь, чему и прежде не раз дивился.

И как это они, дурных вестей доставщики, не сбегают дорогой? Как не боятся везти мне, грозному царю, послания, от которых я впадаю в гнев и — все знают — часто обрушиваю горькую свою

досаду на того, кто меня опечалил. Грешен аз, паки грешен. Ни в чем не повинных слуг моих в обиде на судьбу, бывало, и посохом кованым пронзал, и ножом бил, и на муки посылал. А все равно едут, как агнцы на заклание. Не случалось ни разу, чтобы вестник несчастья до меня не добрался.

И делается мне по душевной моей благости умилительно. Вот ведь нередко бранюсь я, неблагодарный, на народ мой, а русский народ всех прочих языков возвышенней, Божьей воле и государю своему покорней. Поляки или немцы, да те же татаре давно взбунтовались бы, не стерпев испытаний — и тем огневили бы Господа, и погубили бы свои души. А мои голуби терпят и мою ярость, и мое окаянство. За то и спасутся.

— Не трясись, — ласково говорю я гонцу. — Говори складно. Не будет тебе никакого худа, а за быстрый доезд получишь награду. Так что, говоришь, с Магнусом?

А с Магнусом, ливонским королем и моим подручником, вышло худое. Потерпел он от воевод Ягана Свейского тяжкое поражение. Стрельцы и дети боярские, кто при Магнусе воевал, все полегли в бою, а сам Магнус, убоявшись моей

кары, уплыл за море, на свой Есель-остров, и возвращаться оттуда не хочет. Не надо, говорит, ему ливонской короны. И моего покровительства не надо.

Плохо, очень плохо. Стрельцов-то можно новых послать, но где взять для Ливонии нового короля?

Малюта, опричные бояре и окольничьи смотрят на меня. Ждут, что скажу.

Я сижу, потирая ноющий лоб. Велю:

— Говорите, кто что думает.

— Эх, — вздыхает Аникита Одоевский. — Отработать бы Магнуса, свинью датскую, за трусость и непокорство, да как его на том Еселе возьмешь? Это корабли нужны, а у нас нету.

Аникита любит встрять первым, а полезное предлагает редко. Больше передо мной красуется, все угадывает, как лучше понравиться. Держу его за имя — чтоб не говорили, будто мои опричные сплошь сорняки худородные.

Иное дело — окольничий Андрюшка Луговской. Этот тихогласен, но лишнего не болтает. Говорит:

— За измену твоему служению Магнус, конечно, подлежит смерти. А корабли для того не надобны. Вели, государь, послать на Есель нуж-

ного человечка. У меня такой есть, есть и верное зелье. А то, прикажи, сам съезжу.

Луговской — дока в отравных делах. Прошлый год был в Литве и подсыпал яда перебежчику Юшке князь-Щербатову, и тот Юшка в великих корчах издох, за что Луговской и пожалован в окольничьи.

Я поворачиваюсь к думским спиной, чтоб не отвлекаться их пытливыми взглядами. В голове знакомое легкое щекотание, какое всегда бывает перед наитием. Раньше оно нисходило на меня часто, ныне редко, но все же не покидает меня, спасает в тяжкую минуту. Наитию помогает молитва, духовное просветление. И без вдохновенного этого наития государем быть не можно.

— Зачем мне Магнуса травить? — размышляю я вслух. — Он сбежал не от измены, а потому что страшится моего гнева. И податься ему от нас некуда. Свеи, поляки, немцы Магнуса зовут собачонкой кровавого московского Ирода. Кому он в Европе нужен? Никому. А мне он нужен. Живой и послушный... Сделаем вот как. Напишите от меня грамотку, ласковую. Что не виню его в поражении. Это-де сам я виноват, что дал ему мало войска и что я впредь то исправлю. А еще отправьте Магнусу тысячу рублей — да не

серебром, а золотом. И передайте: вернется — получит еще. Никуда он от нас не денется. Приплывет обратно.

— Мудро! — басит за спиной Малюта. — Пусть возвращается, а там видно будет, что с ним делать. Оно и дешевле выйдет, чем корабли снаряжать.

Лукьяныч не льстив, потому его хвала мне приятна.

Поворачиваюсь, упершись руками в бока: более не смиренный игумен, а всея Руси великий государь, кем прочна держава.

Вдруг вижу: Малюта смотрит мне не в глаза, а выше. Что такое?

Хмурюсь.

— Ты почему взгляд отводишь? Или скрываешь что?

Он вместо ответа манит комнатного отрока, кто оправляет свечи. Что-то шепчет — слуга опрометью кидается прочь.

Я вскипаю:

— Ты что о себе возомнил, собака?! Как смеешь при мне тайничать?!

— Сейчас увидишь, — отвечает Малюта.

А отрок уже вбегает обратно. В руке у него зеркало.

— Погляди на себя, государь.

Беру зеркало за серебряную ручку. Смотрю. Господь всеблагий!

На лбу, точно посередине, краснеет круглый кровоподтек, будто кто поставил мне на чело печать. Синяки от молений бывали и раньше, но такого ровного, густого, с будто нарисованными краями не случалось никогда.

Сердце мое трепещет от священного восторга.

Вот он, знак, о коем я столь истово просил!

Я отмечен Господом! Я понят Им! Я прощен!

По лицу текут слезы. Через их пелену зала кажется радужной.

О сладчайший миг! О великое облегчение!

Все грехи мои сняты! На мне Божье благословение, и явлено оно так, чтобы все увидели и склонились.

— Зрите! — провозглашаю я. — Се от Господа Бога Саваофа печать! Служите мне верно, держитесь руки моей, и все спасетесь!

Думские низко кланяются. Первым разгибается Малюта.

— Опять молиться пойдем? — вздыхает он. — Спать охота.

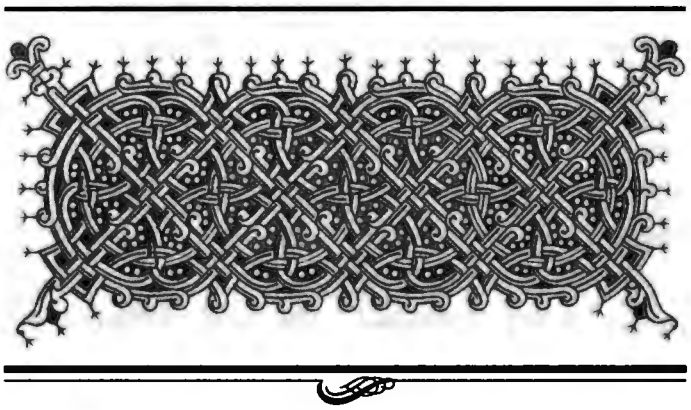
— Иди, спи, дуболом. Ты мне сегодня больше не надобен, — усмехаюсь я. Мне приходит в го-

лову отрадная мысль. — А что Корнилий Пещерник? Не помер еще?

— Помер — сказали бы. Никак ты придумал, какой его казнью казнить? Пора бы. Месяц уже сидит.

Я поглаживаю свое отмеченное благодатью чело, улыбаюсь.

О ЖЕСТОКОВЫЙНОМ КОРИЛЛИИ



Тем же вопросом встречает меня и Корнилий:

— Придумал уже, Каин, как будешь меня казнить?

Он сидит в темнице для самых бережных узников, которые не должны помереть сами от холода или сырости. В темнице тепло и сухо, даже есть малое оконце, через которое идет воздух, а днем льется свет.

Корнилий костляв, седобрад и седобров, в латаной черной рясе и выцветшей скуфье. Вставать и не думает. Сам грязен, согбен, вшив, сидит меж злопахучих луж и нечистот, а смотрит на царя презрительно, словно на мокрицу. В прежние разы меня от этого взгляда кидало в ярость,

а ныне я спокоен и победителен. Стою, опершись на посох, златое шитье на висящих рассечных рукавах сверкает в свете факелов. Лоб у меня закрыт бархатной тафьей, надвинутой по брови.

Отвечаю с усмешкой:

— Да вот, поспорил с Григорий Лукьянычем, как тебя до самой души пронять. Он говорит: надо связать Пещерника и посадить по шею в кувшин с голодными мышами, чтоб они его живого грызли, а мы бы заходили да слушали, как Пещерник орать станет. Это, говорит, турки так с мятежными греками делают, и иные по три, по четыре дня в мышином кувшине сидят, пока не испустят духа, ибо у мыши зуб мелкий, до становой жилы не прокусывает.

Действительно, Малюта давеча такое предлагал, и я внимательно слежу за лицом Корнилия — не пробежит ли тень страха.

Нет, не пробежала. Одно жестоковыйное презрение.

— Хорошая казнь, коли ею турки мучают православных, — бестрепетно отвечает. — А ты, изверг, безбожных турок не лучше. Трави меня мышами. Я смертию праведных умру с умилением.

— Вот и я Лукьянычу толкую, что мукой телесной тебя не проймешь. — Подпускаю в голос

доверительности, будто закадычничаю с дорогим другом. — Ты силен верой в свою праведность и безгреховную чистоту. Потому я придумал для тебя вот что... — Немного медлю, чтобы он замер, — но Корнилию все нипочем, только щерится. — Надо тебя загрешить. Сломаю тебя не лютой напастью, а грязной страстью. Велел я послать в Москву за беспутными девками. Они тебя, прикованного, догола разденут и станут ласкаться, плоть твою распалять. Плоть — она на ласки слабая, ей так от природы положено. Согрешишь, никуда не денешься, святой праведник. Нарушишь обет целомудренный. А я погляжу, как у тебя плоть над духом возликует.

Ну-ка, напугается иль нет?

Не напугался, но разозлился.

— Мое тело, сосуд бренный, в твоей власти! Грязни его чем вздумаешь — хоть кровью, хоть скверной, а души моей ты не достанешь! Ее ты ничем не загрязнишь, руки у тебя коротки! Тьфу на тебя, кал ты смрадный! И сколь в злато ни наряжайся, калом только и пребудешь!

И схватил с полу рукой кало, и кинул в меня, да не попал — немощен.

Есть особый род бесстрашных, самый редкий: это когда человек мне враг и того не скрывает. Да хулит меня не из безопасного далека, бумаж-

ными бранями, как изменник Андрейка Курбский, а в лицо. Бывает, что и прямо с дыбы, а иные уже и сидя на колу.

Редко, но встречаются такие, бесово приплодье. От Дьявола в них бесстрашие, от кого ж еще? Изводишь их, изводишь, но вместо прежних появляются новые.

Про Корнилия этого, пещерного отшельника, люди донесли, что бранит меня подлыми словами, обзывает братоубийцей Каином и сатанинской отрыжкою. А богомольцы схимника чтут, слушают и многие соблазняются.

Получив донос, поехали мои метельщики, вынули старца из его пещеры, доставили в Слободу для расспроса. А он отпираться и не подумал. И дьякам, и писцам стал меня так люто бесчестить, что они уши позатыкали.

Малюта мне сказал: в Пытошный приказ ругателя привезли. Поди, послушай, как он тебя лает. Ты такое любишь.

Чего только с Корнилием не делали, но крепко в Пещернике бес засел, ничем рогатого не изгонишь.

Некое время назад я приказал упрямца более ни огнем, ни железом не испытывать. А вдруг в нем не черт сидит, а наоборот? Околеет Корни-

лий в своей непреклонности да вознесется к престолу Божию и будет там на меня архангелам наговаривать. На что мне оно надо? И так я перед Господом великий грешник.

Я хожу к Корнилию, слушаю его поношения, терплю его уязвления не только оттого, что никак не придумаю, как согнуть сию жесткую выю. Во всей моей земле нет больше никого, кто держался бы со мною свысока, словно я не цесарь и великий князь, а червь земной, и Пещерник взирает на меня из-под небес, брезгуя раздавить каблуком. Этот взор несносен, но и притягателен. Иногда мне кажется, что исчезни Пещерник, и я останусь на свете один-одинешенек. Чувство странное, самому мне непонятное, но только из-за него строптивец доселе и жив. Кто тогда поговорит со мной без оглядки и трепета? Разве что Малюта, но какой из него собеседник?

— Пошутил я про блудных девок, отче, — говорю, убрав усмешку. — У меня тут не похабный дом, а святая обитель. Пришел же я ныне спросить твою мудрость вот о чем.

Тон мой смиренен, а душа ликует. Есть у меня сегодня, чем поколебать Корнилиеву веру в его праведность и мою криведность.

— По-твоему, я Каин, Ирод, Навуходоносор, Валтасар, сосуд мерзостный, лютый душегуб и прочая, и прочая. Коли так, отчего же Господь Отец Небесный помазал меня, злодея, править над Русью, излюбленной своей землей, в которой единственной Его право славят, где Ему право молятся? Думал ты об этом? Может быть, ты себя мудрее Господа мыслишь, если сам решаешь, достоин я быть государем или нет?

Вопрос Корнилия не смущает, да я и не ждал, что старец смутится. Тому еще рано.

— Думал я об этом, Иване, много думал. Мне земным моим умишком Божьей мудрости не объять, однако же отвечу тебе так. Господь поставил над самой любимой своей державой худшего изверга, потому что Он кого больше любит, того суровее испытывает, того заботливее готовит к будущему блаженству.

— Как это?

— А так. Люди русские от тебя терпят многие муки и казни, голод и разорение, но так оно на печальной сей земле и должно быть. Это Диавол-Сатана льстит нас жизненными негами, покоем и мирными кровами — чтобы человеки цеплялись за бренный мир и страшились смерти. Вот мне рассказывали — уж не знаю, правда иль нет, — будто есть во фряжской земле чуд-

ный град Ференца, весь каменный, изукрашенный лепыми дворцами и зелеными садами, игристыми водами и многими красотами. Бедных там будто бы мало, и все сыты, и никакие тираны над ними не тиранствуют, а правят ими добросердечные правители по письменному закону. Тот, кто мне сие рассказывал, лил умилительные слезы и сокрушался, что у нас на Руси не так. Плакал тогда и я с ним. А потом устыдился, ибо понял: радость не в земном довольстве, а в небесном блаженстве. Для того ты, Каин, и понадобился Господу, чтобы оборачивать русских людей от сей бренной жизни к Иному Миру. Чтоб православные пеклись не о плоти, а о души спасении.

Еще и затем я навещаю Корнилия, что устами сего сквернавца иногда глаголет истина. Ах, хорошо он сказал! Истинно так: я — орудие воли Господней, и даже худшие мои неистовства, за которые я потом горько каюсь, державе моей не во зло, а во благо. Буду говорить о том в Москве на церковном соборе, дабы иерархи и пастыри донесли эту правду до всех углов Руси.

С одним только согласиться я не могу.

— Бог — Царь небесный, а я — царь земной. Как же ты, высокоумный, не уразумеешь, что, может, и я своих людей не от злобы, а от великой

к ним любви испытываю? — корю я Пещерника. — Я над своим стадом пастырь, я — отец над чадами. Моею рукой водит Бог, но я не слепое орудие, а следую зову своего сострадательного сердца. Проливая кровь, лью я и слезы. Огрязняя руки православной кровью, ею же я очищаю ваши души! И Господь то видит! — У меня проливаются слезы, голос мой дрожит. — Было мне сегодня на ночном молебне явственное от Бога знамение. Вот, гляди! Эй, светите ярче! — С двух сторон подступают факельщики, а я сдвигаю тафью, обнажив чело, и показываю перстом: — Гос-

подь отметил меня ровнокруглым алым знаком, поставил Свою печать! Зри и трепещи, мнимосвятый богохульник!

Ага, затрепетал! Вжался в стену! То-то!

— Не тебе, букашке, не вам, смертным человекам, меня судить! Я один такой! Я Богом отмечен!

— Да, ты один такой меж человеков. Как Каин. Истинно се чудо Господне. Се — знак на Каине, яко и в Библии сказано! — Тощая рука Пещерника отмахивает кресты. — Отмечен ты, но не благодатью, а Каиновой печатью! День-то ныне какой — помнишь?

— Какой? Шестое октября.

— То-то, что шестое! Два года, как ты, Каин, сгубил своего брата Авеля — блаженного князя Владимира Андреевича. Проклят ты, Иване! Навечно проклят! Оттого и жены твои чахнут, оттого и потомства тебе не будет...

— Врешь! — кричу я. — Два сына у меня!

— Из прежней, докаиновой твоей жизни! Но быть их семени бесплодну! Засохнет твой род, яко изгнившая смоковница! Не будет тебе внуков ни от старшего сына, ни от младшего! И новых сыновей у тебя не будет — если только не сыщешь себе такую же, как ты сам, окаянную Каиницу, чтоб нарожала тебе каинят, как змея

змеенышей. Каин ты, Каин меченый! Тьфу на тебя! Изыди!

Сдерживаюсь. Отвечаю на лай величественно, уместно царскому званию:

— Если сия печать — «знак на Каине», то помни, пастырь заблудший, что сказал Господь о Каиновом знамении: «Еже не убити его всякому обретающему его!» Ничем враги мои меня не изведут.

Выхожу из темницы степенно, но внутренне весь дрожу, потрясенный.

А ведь верно! Шестого октября, два года назад, Малюта по моему велению показал Владимиру Старицкому, моему двоюроду, кубок с ядом и булатный кинжал: «Выбирай свою смерть». Это мы с Малютой тоже тогда поспорили — что выберет. И опять я угадал, что Владимир, хилая душа, побоится крови. Поплакал он, да и выпил, подох в корчах — смертью горшей, нежели от клинка.

Неужто прав Пещерник, Господи? Неужто Ты за многие мои вины отметил меня печатью Каина?

А и поделом! Я Каин и есть, нечистый, скверный и злобесный душегубец!

Иду по темному тюремному переходу и горько плачу. Голова моя опущена, стопы тяжелы,

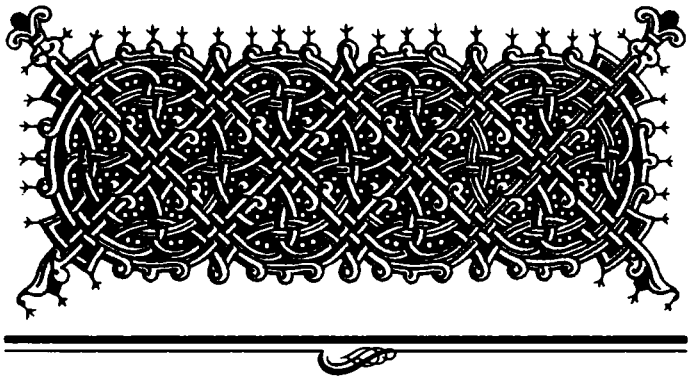
плоть студениста, словно некто вынул из меня хребет.

Это часто бывает: когда с высот ликования и самоверия я вдруг сверзаюсь в бездну отчаяния и самоненависти, как наигорший грешник, низвергнутый в Геенну.

Однако есть у меня на такую напасть верное лекарство. Оно здесь же, близко, в полусотне шагов.

Сейчас полечусь, сейчас!

О ХУДШИХ
МЕНЯ ИЗВЕРГАХ



Пытошный дьяк, великий знатец расспросного дела, смущен. Семенит рядом, оправдывается:

— Батюшко-государь, я через змея этого Корнилия сон потерял. Все ломаю голову, как бы его, сучьего сына, пред твоей волей склонить. От бессонницы и удумал: что если ему спать не давать? Приставить человека — и как начнет задремывать, тот бы ему чугунной сковородкой по башке. Без сна дух слабеет, мысль цепенеет. Недельку Корнилий помается — шелковый станет. А?

Не слушаю, подзываю дьяка Разбойной избы, который пока держится сзади, средь свиты.

— Эй, Бастрюка!

Подбегает, отпихнув пытошного локтем.

— Я, государь!

Спрашиваю, утерев слезы:

— Изверги есть?

— Тех-то, прежних, как было велено, всех отработали. Однако доставлены новые. Ты их еще не видел.

Я — нетерпеливо:

— И каковы они? Довольно ли мерзки? Сколько их?

С тех пор как я придумал лекарство от тягчайшего из уныний, по всем краям разослан указ: самолютых извергов, какие где только сыщутся, впредь на месте смертию не казнить, а везти сюда, в Слободу. Здесь разбойный дьяк их принимает, и которые окажутся мерзостью недостаточны, сразу вешает, самых же содрогательных помещает в особые клети для государевой надобности.

Когда я падаю духом и устрашаюсь, не сквернейший ли я из злодеев, прихожу посмотреть на извергов — и вижу, что есть худшие меня. Тогда немного отпускает, становится полегче.

— Ныне извергов трое, все свежие. — От усердия Бастрюка аж запинается. — Вчера из Москвы привезли уловленного кровавого любо-

страстника. Ныне утром с рязанским обозом доставили христохульницу. А недавно, перед самым закатом, из Кимр прибыла девка, великая двоеубийца, которая...

Перебиваю его:

— На месте обскажешь подробно, про каждого. Веди сначала к любострастнику.

В тесной каморе сидит на корточках съеженный человек, затравленно озирается, мигает единственным глазом. Вместо другого — запекшаяся багровая корка. Волоса странные — будто потраченные лишаем. То свисают клоками, а то проплешины, и тоже багровые.

Я хмурюсь:

— Как посмели без меня расспрашивать?

— Такого привезли, — объясняет дьяк. — Когда поймали, толпа начала колотить, волосья рвать, чуть не разодрали. Еле стража отбила.

— Ну-ка, зачти, что прислано. Да начало пропусти, где величания и прочее. Про злодейства чти.

Он разворачивает свиток.

— «...Мая месяца третьего числа на пустыре за Поганой Лужей в бурьянах сыскан труп малый, детский, женского пола. Потроха выреза-

ны, нос-уши отгрызены, а про остальное и писать срамно. Вкруг лихого места ради очищения от бесовской злобы хожено с крестами и кадилами.

Июня двадцатого у Щипка в яме сыскан другой труп, купеческой дочки Марьяны Филимоновой, а лет той Марьяне семь с половиной. Была она тож выпотрошена, зубами погрызана, опоганена. Служили молебен и ходили крестным ходом.

Августа в четырнадцатый день из реки из Яузы близ Кривой Мельни рыбацкие люди вытащили мертвую отроковицу, в коей признана дьячкова дочь Марфа Дьячкова одиннадцати лет, а признали ее по тельному крестику, как у той Марфы лицо все откушено, и срамные части тож.

По Москве пошел слух, что бродит под заборами оборотень, полумужик-полуволк, грызет малых девок, и многие велели детям со двора не ходить. Служили службы по всем приходам, от оборотня во избавление.

А сентября осьмнадцатого дня мужики-плотники, идучи полем через Остоженку в лавку попить квасу, услыхали в кустах рык и чавк, подумали — не собаки ли, да пошли посмотреть заба-

вы ради, и увидели там посадского, а под ним дите, женского полу, а он ту девчонку поганит, а сам ей зубами ухо грызет. И оторвали его, схвативши, а девчонка уже мертвая. И зашумели криком, и прибежали на крик люди, и поняли, что это он и есть, волк-оборотень, и стали его убивать и мало не убили.

А на первом расспросе посадский сказался Никифором Мясорезом с Мясницкого ряда на Арбате и повинился, что волчьим тем погрызом сгрыз до десяти малых девчонок, да иных кидал в колодцы и их не сыскали. А зачем то поганство делает, Мясорез объяснить не сумел...»

Я смотрю на Мясореза, он же глядит только на дьяка, кажется, считая его здесь главным. Машу рукой, чтобы посветили. От факелов изверг сжимается еще больше, его блестящий глаз бегает зраком, из проваленного рта (ишь, и зубы вышиблены) вырывается жалобный хлип.

Посмотри на него, Господи. Какие страсти творил! Много гадостнее и мерзостнее меня. Где мне до такого?

— Зачем же ты, Никифор, невинных деток терзал и истреблял? — спрашиваю.

Он весь подается в мою сторону, привлеченный мягким голосом. Должно быть, с ним давно никто ласково не разговаривал.

Дьяк замахивается плеткой:

— Отвечай, когда царь спрашивает!

— Не жнаю... — лепечет изверг беззубо. — Так-то живу, как живу, и вдруг беш вшеляется... Как шядет на шею, начнет в ухо шептать да погонять, не могу ему перечить. Иду, куда жовет. Делаю, что говорит... Может, и не я это вовше...

Что ж, бес и меня искушает. Иной раз впадаю и я в беспамятное неистовство. Но никогда, даже в кромешнейшей ярости, не доходил я до столь адовых гнусей. И девчонки малые, овечки безвинные, во мне никогда блудного огня не распаляли.

Взгляни на сего выродка, Господи. Что по сравнению с ним Каин? Этот хуже Каина и хуже меня! Прости же мне, недостойному рабу Твоему, мои грехи, как и я сейчас прощу наипакостнейшего из рабов моих.

— Ступай себе с Богом, Никифор Мясорез. Прощаю тебя ради Христа. Помолюсь, чтобы бес из тебя отселился. Встань, брат мой во несчастье.

Ошалевший изверг хлопает глазом, не встает. Его подхватывают, поднимают, и я лобызаю худшего из моих подданных в распухшие уста.

Зри, Господи! Если уж я, царь жестокий, милую претяжко виновного, неужто Ты, всемилостивый, не умилишься искренним моим раскаянием?

Трогаю печать на лбу, загадываю: когда сей знак сойдет, тогда Бог меня и простит. А до той поры стану жить на воде и сухой корке, носить власяницу с веригами и всечасно молиться, даже и ночью. А еще пошлю на заупокой Владимира Старицкого сто, нет двести рублей. И в Троицу пошлю, и в Кириллов.

На душе уже не так черно, но все равно маятно.

— Веди дальше, — говорю дьяку. — Кто там у тебя еще?

Заходим в другую клеть, такую же.

Там, посередке, сидит баба, качается из стороны в сторону.

— Се христохульница, — объясняет дьяк, заглядывая в другую грамотку. — Рязанский наместник пишет: прасолова женка Маланья, потерявши в мор мужа и четверых детей, впала в души исступление. Закрыв глаза младшему

сыну, последнему из всех, сорвала со стены икону Спасителя, и резала Христов Лик ножом, и топтала ногами, и бранила Господа страшными, неповторимыми хулами, и делала то при многих свидетелях.

Я крещусь: вот уж злодейство так злодейство!

Подхожу, беру бабу за подбородок, поднимаю лицо, чтобы заглянуть в глаза. Каков взор у той, что посмела поднять руку на Спасителя?

А нет никакого взора. Глаза недвижные, смотрят сквозь. Се душа уже погибшая, угасшая.

— Хотел бы я тебя помиловать, Малаша, но не могу, — говорю я сочувственно, ибо слезное сокрушение уместно и над непростимым грешником. — Кабы ты меня хулила и обидела — простил бы. Но за обиду Сына Божия — не могу. Рабы Иродовы секли Его пречистое тело плетьми, а иные надевали на Его чело венец терновый, а третьи прибивали гвоздями и пронзали копьем. Неужто ж мало тебе Христовых мук, что стала ты Его лик пресветлый ножом кромсать?

Реку и плачу — так жалко мне Сына Господня.

А баба не слышит, не смотрит. Сидит, раскачивается.

— Все что могу для тебя сделать, великая ты грешница, наказать тебя тою же мерою. Может,

за то уменьшат тебе кару в загробной жизни. Ибо земная кара временная и преходящая, загробная же казнь вечная. Из жалости тебя приговариваю. И помолюсь о тебе.

Дальше говорю уже не ей, а дьяку:

— Дать сорок ударов кнутом, как Христа секли. И гляди — чтоб со спины всю кожу начисто снять. На голове затяните венок с колючим терном...

Задумываюсь: где же терн взять?

Но пытошный, догадавшись, высовывается из-за спин:

— У меня, государь, проволока есть немецкая, недавно привезли. Ее можно колючками накрутить. Чем не терн?

— Ладно, пускай проволока. Потом возьмите христохульницу и приколотите гвоздями — но не стоймя и не к кресту, упаси Господи, не возвышенно — а плашмя, к деревянному настилу. Лицо ей покромсайте ножом, как и она резала. И оставьте. Пусть лежит так, пока ее душа не умирится.

Баба — будто не про нее говорено. Как сидела, так и сидит.

— Поглядишь, государь? — спрашивает пытошный. — Мы быстро, только проволоку накрутить.

— Сами работайте. Не хочу сегодня на грешное смотреть.

Томно мне, грустно. Каких только тварей не носит земля! Образ Христов — да ножом?! Воистину последние времена близятся. Недолго уже осталось.

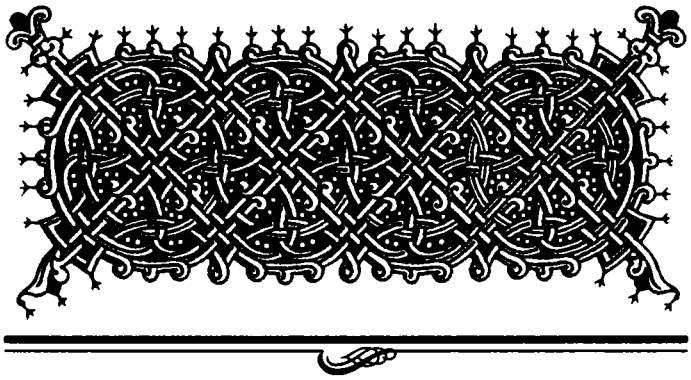
Выхожу понурый.

— Кто там у тебя еще?

— Девка, сотворившая великое двоеубийство.

— Это еще что за птица?

О ВЕЛИКОМ ДВОЕУБИЙСТВЕ



— Редкая птица, государь. Великих убийств, как ты ведаешь, в законе два: кто убьет родного отца или кто убьет монаха либо рукоположенного пастыря. Эта же, именем Ирина, прозванием Бе́лочница, убила и родителя, и священника. Потому она — великая двоеубийца, и кимрянский волостель, согласно указу о сугубых извергах, прислал ее на твой Государев суд.

— Не в себе была, как те двое? Бес вселился? Кого она сначала убила — отца или попа?

— Ее родной отец и был поп, ибо она родом поповна. Про беса же не ведаю, еще не расспрашивали.

Я вздыхаю. Увы мне!

На этой преступнице тоже не явить всепрощения. За отцеубийство еще можно бы, но за священника — никак. Попы и монахи — они не только мои, но и Боговы. Аз, грешный, многих из духовенства живота лишил и тем я девки-кимрянки не лучше. А все ж отца родного, да пребудет его душа в вечной благости, я не убивал. На Руси это злодейство почти и не слыханное. За всю жизнь одного только отцеубийцу я и видывал — Федьку Басманова, но и тот на ужасное дело пошел от ужасного же страха.

Девка Ирина грешнее меня, это отрадно. Нельзя помиловать — хоть посмотрю на такую. А и любопытно, как она решилась кровного родителя, священную особу, смертию убить? Если по случайности, без умысла — плохо.

— Ну показывай.

Темница такая же, как две соседние, только без смрада. Преступницу всего несколько часов как привезли, не успела нагадить.

Сначала мне кажется, что в каморе пусто. Потом, вглядевшись, вижу: лежит кто-то на полу, лицом к стене. Засовы лязгнули — не повернулась.

Одета чудно́: из-под задравшегося подола серой рясы — штаны, как у татарок, и лубяные са-

поги, я таких прежде не видывал. Волосы стрижены — не по-девичьи, а по-юношески. Тоже странно.

Разбойный на девку:

— Встань, паскудина! К тебе царь!

А она, не повернувшись:

— Хоть псарь.

Удерживаю рванувшегося дьяка за рукав. Подхожу. Говорю чувствительно, неспешно, чтобы вникла:

— Ты какой казни желаешь? За отцеубийство кладут живьем в гроб и в землю закапывают. За убийство попа — на костре жгут. Сама решай. Только в этой милости я и властен.

Интересно: что выберет? Я бы лучше огонь выбрал, чем в подземной тьме, в тесной домовине задохнуться.

Девка в ответ скучливо:

— Все равно мне, дядя. Под землей, я чай, не страшней, чем на земле. А и сгореть тож неплохо. Улечу с дымом в небо, от вас, обрыдлых. Живите тут без меня, копошитесь.

Ишь ты. Везет мне сегодня на бесстрашных. Сначала Малюта, потом Корнилий, теперь эта.

— Посветите-ка!

Теперь вижу, что у девки Ирины руки связаны за спиной.

— Дерется, кошка бешеная, — поясняет дьяк. — Тюремщику перстом в глаз ткнула. Кровищи было! Не окривел бы.

— Подымите ее. Погляжу. А и ты, Ирина Белочница, посмотри на царя православного.

Поставленная на ноги, великая двоеубийца почти с меня ростом — высокая. Волосы спереди такой же длины, что сзади. Пали на лицо, и, как у Мясореза, виден только один глаз. В нем никакого страха, лишь удивление.

— Ты правда царь? Это за тебя по всем церквам и монастырям молитвы чтут? Заради тебя, облезлого, всех людей терзают?

Лицо у злодейки чистое, юное, однако без девичьей нежности — обветренное. Бровь густая, с изгибом. Рот твердый.

Я ей кротко:

— Так уж Бог судил — меня над людьми вознести, хотя я, может, всех вас грешней. Да что про меня толковать? Про себя расскажи, поповская дочь. Послушаю — решу, как с тобою быть. Может, не казнить, а отправить в монастырь на покаяние?

Нарочно солгал — посмотреть, не блеснет ли надежда. Где надежда, там и страх.

И верно, блеснуло что-то. Глаз чуть сощурился, в меня вглядываясь.

Ну гляди на меня, Ирина, гляди. Я твоя судьба, я твоя смерть. А сколь лютая — от тебя зависит.

Заговорит иль нет?

Молчит. А послушать про двойное великое убийство хочется.

Чтобы человека разговорить, есть два способа: либо сильно напугать, либо подойти издали, начать с чего-нибудь невинного.

— Из каких ты людей? Давно ль ваш род во священстве?

Сам загадал: она не из смердов и не из исконно духовного сословия, а из посадских, или торговых, еще верней — из захудавших детей боярских. Ибо род человеческий — ствол древесный, а люди на нем плоды, и не дано на дубе произрасти яблоку, а на яблоне желудю. Не может быть столь гордой повадки у того, кто от дедов-прадедов свычен к покорству.

— Род наш из переселенных новгородцев. Батя, помню, любил хвастаться, что мы, Григорьевы, великого боярского рода, да врал, поди. Всегда брехлив был.

Я доволен вдвойне.

Во-первых, уловка удалась — девка заговорила. Во-вторых, угадал про родословие. Чем-чем,

а остроразумием я, благодарение Господу, нескуден.

Вон оно что. Это в ней дерзкая новгородская кровь сказывается. Мой дед ее лил-разбавлял, да всю не вылил, на меня оставил. В прошлый год ходил я с моей опричниной в Новгородскую землю покончить дело. И жгли тамошних людишек, и в воде топили, и железом секли. По заграничным пределам разнесся слух, что русский царь вовсе с ума сошел, собственных подданных ни за что казнит и зорит. Не понимают, пустые головы, что я вечную язву, всяческих крамол рассадник, докончательно железом прижигал. Чтоб новгородский гной никогда более не истекал, не отравлял тела моей послушной державы.

— Нехорошо так про родителя, — укоризненно говорю поповне. — Заповедь Господня гласит чтить отца своего. И Матфеем Евангелистом повторено: «Иже злословит отца, смертию да умрет».

— Какой он мне родитель! — У девки кривится рот. — Когда мамка померла, свез меня семилетнюю в лесную обитель, к сестрам и потом тринадцать лет не езживал. Выкинул за ворота, как приплод котячий. Хорошо в ведре не утопил...

И прибавляет, задумчиво:

— Хотя, может, это единственное благо, которое он мне сделал...

Удивительно. По виду — совсем простая девка, такие обычно двух слов не свяжут, а речь складная, свободная.

— К сестрам попала — это благо. Вижу, обучили они тебя красно говорить. Может, ты и грамоте знаешь?

— Знаю. Все книги прочла. Их у нас в обители было целых четыре: Ветхий Завет, Евангелие, «Часовник» и «Четьи-Минеи».

— Истинно рекут: вашему Евиному роду учение не в пользу. Вот и «Четьи-Минеи» ты прочла, и Священное Писание, а отца родного умертвила, — перехожу я к интересному. — Знать, главному тебя в обители не научили: смирению.

— А меня все больше сестра Палагея учила, охотница. Зайца смирением в силок не уловишь, белку с дерева не собьешь. Монастырь у нас бедный, от дорог далекий, сам себя кормит. Инокини и послушницы всяк свое дело ведают. Есть сестры-грибницы, есть ягодницы, есть травницы, есть птичницы, есть рыбницы — кто рыбу ловит. А меня определили в охотницы.

— Потому тебя и Белочницей звать? Потому и волосы коротки? Яко у Дианы, богини грецкой.

Я поневоле любуюсь смелой девкой — таких еще не встречал. Про грецкую богиню я сам для себя сказал, но поповна опять удивила:

— Диана у нас зимой в лесу замерзла бы, а я умею снежную нору вырыть и в ней без огня проночевать.

Надо ж, и про Диану она читала!

Не прикрытый волосяными прядями глаз смотрит мимо меня. В нем тоска.

— Хорошо там, в обители. Без вас-то...

— Без кого «без нас»?

— Без мужского племени. Где вы правите, там маета и мука, кровь и гибель. А где вас нет — мирно, складно, заботливо.

Хороша кобылка-то, только теперь примечаю я. Необъезженная, норовистая, кожей небелая, а хороша. Тело гибкое, ладное. Легко представить, как она ходит по чаще с луком и стрелами: рукава завернуты, голые руки загорелы. Или как нагая купается в лесном ручье.

Ее бы в баньке попарить, чтоб размякла, да веничком березовым постегать...

Чувствую в чреслах сладкую истому. В молодости она накатывала часто, а теперь все реже и

реже. И то сказать, сколько их, баб и девок, испробовано: невинных и распутных, робких и жадных — всяких. Недавно велел со всей земли собрать самых раскрасавиц, на смотрины. Чуть не две тысячи отсмотрел. Одни предо мной бледнели, другие краснели, третьи обмирали. Скучно было, зевотно. А вот такой, пожалуй, я еще не видывал: чтоб и взбыклива, и никем не тронута. Погожу, пожалуй, ее в землю зарывать. Поспеется.

— Ты мужчин не любишь, потому что их не ведаешь. — Провожу рукой по девкиной груди. Ишь упруга! — Мы бываем страшны, а бываем и сладки. В жизни, дево, страшное и сладкое часто рука об руку идут. Кого не страшишься, с тем и сладости истинной не познаешь...

Шагнула назад. И пренебрежительно:

— Это ты про любное дело? Знаю, попробовала. Прошлое лето встретила в лесу охотника. Лепый, веселый. Два дня с ним в шалаше провели. Хорошо полюбились, сладко. Чего ж там страшного? Любить мужчину — одно, коли любится, а жить под вами — иное. Я вон собак люблю, но не стану ведь я жить под собачьей властью?

Не девка, значит. Потоптали уже...

Истома, не набрав полной силы, сникает. Вместо нее подступает гнев.

— Говори про злодейское, грешница! Как ты отца своего, рукоположенного от Бога священника, убила?

Глаз опять щурится, будто ко мне примериваясь.

— Как убила? А шкуряком. Чем с белки шкуру снимают. Всадила туда, где у людей сердце, а у него, крысищи, грязи кусок... Тринадцать лет его не видела, и вспоминать забыла, что за отец такой. Вдруг явился, с двумя бугаями — звонарем да пономарем. Рассказал ему кто-то, что дочка выросла и что собою красна.

— Нескромное про себя говоришь, — вставляю сурово. Однако думаю: вправду красна. Той особой красой, которая с первого взгляда не слепит, но чем дольше смотришь, тем она приметнее. Ибо сидит в бабе какой-то бес ли, ангел ли — и манит, подмигивает. Поди знай — пропадешь с ним или спасешься. В том и соблазн, в том и замирание сердечное. Такою была Марья Черкешенка. Никогда с ней не угадаешь, вспыхнет она жарким пламенем или зашипит змеею. Но эта не похожа ни на огонь, ни на змею. На воду похожа — глаз омутом. Обжечь не обожжет, а утянуть утянет.

— Зачем же он приехал, твой родитель?

— У них, на луговой стороне, поселился новый поместник. Старого боярина ты велел сказнить, а его земли отдал опричному, из татар, князь-Девлетееву какому-то.

— Есть у меня такой. Лихой молодец.

— Что правда, то правда — лихой. Много от него лиха. — Белочница все щурится, что-то во мне высматривает. Но говорит без понуки, вытягивать не приходится. — Очень до девок охоч. Но просто любиться с ними не может. Чтобы распалиться, ему сначала девушку помучить надо. Бьет их кнутом и еще всяко. Иные от того померли, иные руки на себя наложили. А находятся псы, которые к князю своих дочерей доставляют, потому что он за то денег дает, смотря по красоте. Бывает, что рубль, а бывает что и два. Вот мой батюшка и придумал обогатиться. Поглядел на меня, обрадовался. За такую, говорит, лепоту князь мне и три рубля даст. Едем, говорит, доча, со мной. Я — нет. Он говорит: знаю, говорит, мне сказывали, что ты строптива, потому и робят с собой взял. Берите ее, вяжите. Я ждать не стала. Сначала ему, крысище, шкуряк в сердце воткнула. Только потом они меня взяли...

Качаю головой.

— Тут не двойной грех, а тройной. Ты еще повинна и в чадном непослушании. Отец волен над своими чадами, яко царь над своими рабами. Ибо сказано: «Сын славит отца и раб господина своего убоится. И аще отец есмь — где слава моя? И аще господь есмь, то где есть страх мой?». Известно ль тебе, что нет зла хуже, нежели рушить поставленный Богом порядок? Ты вот отцовской воле запротивилась, руку на родителя подняла. А есть такие грешники, кто и на мою царскую волю ропщут, кто и на меня, помазанника, злое помышляют. Я сих казню страшными карами — такими, что лучше уж живой в землю или на костер. Слыхала ты про мои казни?

Говорю с нею рассудительно, по-человечески, хочу до ее разума достичь. А она мне дерзновенно:

— Кто ж про тебя, упыря несытого, не слыхивал, про твое окаянство!

Зубы оскалила, и в лицо мне — тьфу! Мокрой брызгой прямо в переносицу!

А в глазу огонь лют, в нем вызов и ненависть.

Чтоб погасить сию искру сатанинскую, я хватаю злодейку руками за шею, сжимаю — да вдруг

понимаю ее умысел. Вот к чему она щурилась! Чтобы я ее на месте, без мучительства, умертвил. Понять понял, но бешенство сильнее рассудка.

Стискиваю горло. Сдохни, гадина, сдохни! Хочу ощутить, как с последней судорогой вылетит душа!

Ее голова откидывается назад. Появляется второй глаз, такой же горящий, неистовый. Падают со лба волосы — и у меня разжимаются пальцы, я кричу, не слыша своего голоса.

Крик переходит в хрип. Страшная боль пронзает место, минуту назад рассластившееся в истоме. А-а-а, что за огненная мука! Ужасная, ни единой живой тварью прежде неизведанная!

Это жесткое колено снизу ударило меня в пах. Я и не знал, до чего это остростадательно. А может быть, священный трепет удесятерил силу боли.

Слуги хватают кощунницу, посмевшую пнуть ногой великого государя. Такого на Руси не бывало сроду. Это преступление еще страшней, чем поднять руку на отца или священника.

Превозмогая муку, сиплю:

— Не убивайте ее!

Еще не разогнувшись, сгорбленный, семеню ближе, проверить — не померещилось ли.

Ирину держат крепко — не шелохнется. Она яростно щерится, снова плюет в меня и снова попадает, но я смахиваю мокрое, едва заметив.

Не померещилось...

Пятно! Круглое! Розовое! Точь-в-точь такое же, как мой знак! И в том же самом месте!

Осторожно трогаю пальцем ее лоб. Тру. Не стирается.

— Давно это у тебя? — спрашиваю шепотом. — Вот это, здесь?

— Всегда...

Удивлена. Мигает.

А я зажмуриваюсь.

Вот оно, пророчество Корнилиево! Се и есть предвещенная им Каиница. Отца убила, жреца убила. Духом неистова, нравом неукротима. Ниспослана мне... кем? Богом или...?

Но эту страшную мысль вытесняет другая.

Доселе я был на свете один, а отныне нас будет двое. Каин нашел себе пару!

О, сколь прекрасен ее лик с очами пылающими и бесстрашными! О, сколь горячо ее чистое дыхание!

А еще Корнилий рек про каинят, чрез коих продлится мой род.

Вот оно, чудо из чудес! А кем ниспослано, про то лучше не думать.

Пытошный дьяк что-то давно уже болбочет, да я не вслушивался. Он старательный, изобретательный, в учении неукротимый, свое дело любит. Предлагает невиданные казни за невиданное преступление — ушибление государева паха.

— ...Или еще можно ее на ту ж шипасту проволоку посадить и взад-вперед возить, пока пополам не перепилится. Или вот еще я спознал: в катайской земле великого преступника к доске привяжут, и малым сверлом, потихоньку...

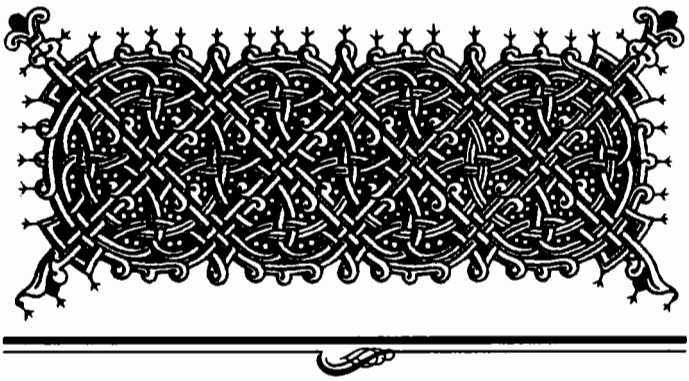
— Корнилия отпустить! — велю я. — За ворота выведите — и пускай идет, куда хочет. Пускай лает меня хоть по всей земле. Волоса только ему все выдерите, на голове и из бороды. Люди его юродом сочтут, ибо плешивых и голомордых пророков не бывает... И вон все отсюда.

Слуги не сразу решаются выпустить мою Каиницу, и я бешено бью посохом в пол.

— Вон!!!

Миг спустя в каморе никого не остается. Только я и она.

О ПРОБУЖДЕНИИ



— Ну здравствуй, судьба моя, дщерь священническая, единокровная моя Каиница, с печатью истинной! — провозглашаю я трепетогласно. — Мой-то знак сойдет, а твой нестираем! Богом ты мне ниспослана или Диаволом, но быть нам с тобою вместе, плоть в плоть и душа в душу! Я ждал тебя многая лета, иссыхая, яко путник в знойной пустыне, и сам не ведал о своей жажде!

Развязываю ей путы, а моя Каиница, потирая запястья, смотрит на меня в изумлении.

— Правду про тебя говорят. Полоумный ты.

— Это у меня доселе было пол-ума и пол-души. Ныне же я стану из полоумного полноумным, из малодушного — полнодушным!

Хмурится.

— Ты удумал какую-нибудь особенную казнь, с глумом. Что за мука меня ждет?

— Муку будем делить на двоих, моя суженая, и оттого тяжкое бремя мое станет вдвое легче! Быть тебе, Иринушка, не белочницей, а русскою царицею! Так судило Провидение!

Вот теперь она наконец испугана — вижу. Но мне больше не нужно от нее страха, мне нужно, чтоб и она поняла: се великое чудо, а перед чудом должно, не умствуя, склоняться.

— Ишь, трясется весь, — бормочет она. — И слезы... У тебя горячка. Бредишь. Какая из меня царица? Я не княжна, не боярышня. Опомнись!

В самом деле, я кричу, как бесоодержимый. Надо взять себя в руки.

Чтобы показать свое здравоумие и трезвомыслие, я отступаю назад. Объясняю просто и рассудительно:

— Перед царем все равно ничтожны. Кого вознесу — тот и боярин. А которую полюблю — та царица. Ты ведь слыхала, не могла не слыхать, что я повелел со всей Руси отобрать лучших дев — лучших не родом, а красой? Отобрал сначала двадцать четыре, потом оставил двенадцать, а из них — двух наилепших, меж которыми маюсь. Обе хороши — и Собакина Марфа, и Кол-

товская Анна. То к одной клонился, то к другой, на двух ведь не оженишься, я христианский царь, не салтан турецкий. А оно, оказывается, вот что! Колебался я, потому что ни той, ни другой мне не надобно, ибо в сравнении с тобой они — гусыни серые пред павлиною, цветки придорожные пред пышноцветной розою! Завтра же обеих выгоню. Иль выдам за кого из опричных. Будет на Руси царица Ирина! И сидеть тебе не взаперти, на женской половине, а рядом со мною, на престоле! Где я, там и ты. Где ты, там и я!

Вижу — опять раскричался, и потому умолкаю. Грудь моя вздымается, в горле клокочет рыдание.

Дева глядит на меня в ошеломлении, утратив речь. Еще бы! Только что видела пред собой разверстую могилу, кишащую червями — и вдруг вознесена превыше всех жен земли. Это я, я ее вознес! Сколь сказочное свершение! О нем будут петь былины и писать небылицы много веков — как про князь-Игоря, что женился на простой лодочнице Ольге! И никто, никакой былинник или летописец не будет знать истины, которая чудеснее любой сказки!

Однако ж провидение провидением, но нам-то на земле жить, яко муж с женою живут, говорит мне разум. Коли уж я, царь и государь, причастный многим тайнам сущего, трепещу пред волей

Высших Сил, каково же Иринушке, простой отроковице, ничего кроме своего леса и убогой обители не видавшей? Верно, чает, что все это сон или минутное наваждение.

Пусть же увидит, что все сие наяву. Пусть посмотрит, сколь дивно царское житье. Пусть воспламенится хотением. Известно: Евины дочери голодны зрением, а насыщаемы видимой лепотой. Что ж, лепоты у меня во дворце много.

Моя Каиница горда и своенравна, но не такова ли была и царица Савская, пока не узрела чудеса Соломонова двора? Сказано: «И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и всесожжения его, которые он приносил в храме Господнем».

— Пойдем со мной, дево. Увидишь, в каких чертогах живет всея Руси царь. Ибо ныне и тебе так жить...

Я беру Ирину за горячую руку и веду из убогой темницы в осиянный яркими огнями двор. Все перед нами расступаются, разделяются, словно воды пред килем корабля.

А в небе — чудо, еще одно чудо! — воссияли многие звезды, каковых по осеннему хмуропого-

дию давно уже не бывало. Может быть, все-таки посланница моя — от Бога, Который в непостижимой Воле Своей даровал мне ее во спасение? Ведь не Сатана же распоряжается небом и его светилами?

Памятуя о том, что девы прельщаются слухом не меньше, чем зрением, я шепчу своей богоданной невесте Соломоновы вирши, древнейшее и сильнейшее из любовных заклинаний:

Сердце наше привлекла еси, сестра моя невеста!
Сердце наше привлекла еси едино от очей твоих,
Единым монистом выи твоея!
Что удобристы сосцы твои, сестра моя невеста!
Что удобристы сосцы твои паче вина!
И вонь риз твоих паче всех ароматов!
Сот искапают уста твои, невеста,
Мед и млеко под языком твоим!
И благоухание риз твоих, яко благоухание Ливана!

Ввожу ее в царский терем через красное крыльцо, над которым высится подпертая витыми столпами злаченая крыша и сияет тысячью предивных переливов, отражая огни.

А в передней еще светлее, чем во дворе. Там бронзовые паникадила и серебряные стенные нанданы, в них горят сотни свечей белейшего воска.

Следуем чередой комнат, одна пышнее другой — тою же дорогой приводят ко мне инозем-

ных послов, и ради их изумления здесь собраны многие чудеса и великолепия.

Впереди — я повелел — бегут расторопные слуги, распахивая поставцы и шкафы, откидывая крышки рундуков и коробьев. Там блестят предивные сосуды, иные серебряны, а иные чиста золота; там переливаются хрустальные кубки и порцелановые блюды; там сверкают старинные ендовы и дары чужеземных государей.

Кошусь на Иринушку — ослеплена ли сими сокровищами? Вижу: разинула ротик, глаза — будто блюдцы. То-то!

— А вот часы немецкой работы, с перечасьем, — показываю. — Двенадцать златых апостолов, по одному на каждый час. Скоро, когда сия стрела коснется вот этой цифири, раздастся звонкий звон, и Святой Петр — вон он, с рыбацкой сетью, подымет десницу.

Идем дальше.

— А се опахало для жаркого дня. — Кручу ручку в стене, и над креслом плавно машут пышные черные перья. — Ты сядь, сядь. Обдувает? То перья птицы Африканский Струс.

— Ух ты! Я птиц люблю. — Дева подставляет лицо дуновению, и я радуюсь: ей нравится, нравится!

Умиляюсь:

— Божьих птах любишь? И я, и я! Пойдем, я тебе своих канареек покажу. Ох, сладко поют!

Тащу Ирину вперед, да спохватываюсь: ночью канарейки петь не станут, они спят.

— Нет! Я тебе покажу чудо еще того удивительней. Шемаханский владыка прислал райскую птицу из Индийской земли.

Поворачиваю в книгохранительницу.

Моя суженая ахает. Она никогда не видала такого множества книг — водит пальцем по златоузорным корешкам. Я же приближаюсь к прикрытой платком клетке, в которой сидит папагал, наперсник моих одиноких ночных чтений.

Сдергиваю легкую ткань.

— Это и есть райская птица? — разочарованно спрашивает Ирина. — Бела. И венчик бел. А в книгах пишут, в раю птицы многоцветны.

Улыбаюсь.

— В раю птицы глаголют человечьими голосами. И эта тоже.

Моя лада не верит, смеется. Думает, я шучу.

Беру с блюда яблоко, показываю папагалу.

— Тебе целиком или порезать?

Провожу ногтем по серебряным прутьям, и птица исправно кричит:

— Ррезать кусками! Ррезать кусками!

Ирина всплескивает руками, пятится. До чего ж она мила, когда не злобится, а изумляется! Сердце мое сжимается от нежности.

Кричать папагала выучил шутник Малюта — вот для какой надобности.

Бывает, приведут ко мне какого-нибудь провинника, и я ему будто бы в задумчивости говорю: «Не знаю, как с тобой, лиходеем, и поступить. Есть у меня вещая птица. Спрошу ее». И обращаюсь к папагалу: что-де мне с имяреком делать, помиловать иль покарать? А тот на всякий вопрос кричит: «Резать кусками!». Иные с перепугу в обморок падают, а один старик, боярин Плещеев, до смерти сомлел. То-то потеха!

— Скажи, райская птица, как мне быть с царем кривоумным? — спрашивает Ирина.

Попугай отвечает:

— Резать кусками! Резать кусками!

И она смеется. Ах и смех у нее! Отрада для слуха! А как посветлел, пояснел ее лик — очам загляденье! И я знаю, чувствую душой, что буду любить ниспосланную мне супругу, как никогда никого не любил. Больше, чем Анастасию, да пребудет она с ангелами!

— Гойда, гойда! — верещит попугай. Когда смеются, он всегда так. Больше ничего, дурак, не умеет, только «резать кусками» и «гойда».

— Пойдем, царскую опочивальню тебе покажу. Там свершается великое таинство: помазанник Господень творит со своею царицей августейшее потомство на благо всей русской земли. Погоди. Я первый войду.

Спальня у меня вот какая: посреди, конечно, ложе меж столбцов, а две стены по бокам укрываются занавесями. Восточная стена — богоугодная, вся от пола до потолка в образах святых заступников. Западная же — бесовская, там висят соблазные фряжские картины с нагими девками, кои предаются плотскому греху. Когда я, бывало, возлежал с венчанной женой, западную стену завешивал, а восточную открывал. Однако с тех пор

как вдовею, иконы укрыты. Баб и девок ко мне водят редко и не для продолжения царского рода.

Ныне же я срамную стену закрываю, растворяю священную.

— Пожалуй-ста, — приглашаю матерь грядущих детей моих. — Вот она, кузница, где Бог выкует для Руси нового государя.

— Так уж и Бог, — усмехается она. И, мельком покрестившись на образа, идет к завешенной стене. — А тут у тебя что?

Берется за край плащаницы, раздвигает. Я не препятствую. Мне жарко. Жарко смотреть на деву, что стоит меж иных дев, голых и бесстыжих.

— Как живые! — говорит она, нисколько не смущенная. — А мясисты-то! Ой, у мужика ноги козлиные!

— С царем на лебяжьей перине любиться — это тебе не с мужиком в шалаше. Сейчас спознаешь, — шепчу я ей сзади в ухо, обнимаю упругие плечи, сжимаю ладонями небольшие крепкие перси. — Любушка моя, Каиница моя печатная...

Давно уже не испытывал я такой плотской охоты, даже дышать трудно.

Вдруг дышать становится вовсе невозможно. Острый локоть бьет меня под ложечку, и я перегибаюсь от боли — не менее ужасной, чем давеча, когда колено чувствительно уязвило мне чресла.

— Ишь, руки распустил! Похáбень старый!

Меня, ослепшего, тащат за ворот, швыряют на постель. Я в обмирании, ловлю воздух ртом, а сказать ничего не могу.

Рвет с меня кушак. Зачем?

Выворачивает руки. Пробую оттолкнуть — но она сильная, много сильней меня.

Прикручивает запястье к столбцу. За ним и второе — рушником.

Усаживается на меня сверху, спиной. Привязывает и ноги.

Я уже могу дышать, но не сопротивляюсь. Как это, оказывается, сладко, когда не повелеваешь, а подчиняешься — кому-то сильному, уверенному.

— Делай... Делай со мной что пожелаешь! — бормочу я. — Твоя правда! Негоже нам без венчания беса тешить! Станешь царицею — тогда! ...Постой, не слезай с меня! Посиди еще!

Но она уже соскочила на пол, глядит сверху вниз, сердито.

А я лежу перед нею беспомощный, растянутый буквой «херъ», словно святой Андрей на кресте.

Шепчу:

— Все мне рабы, а я буду рабом тебе. Кто бы тебя ни послал... Хочешь — на цепи меня води,

как собаку. Хочешь — веревки из меня вей. Хочешь — плетью стегай.

Иринушка смотрит уже без гнева, а будто в сомнении, не зная, что со мною делать. Лоб наморщен, посредине розовеет единящий нас знак.

— Не прикоснусь к тебе больше до венчания, Христом-Богом клянусь! Будешь править вместе со мною — если не всей страной, то сим благословенным Островом! Утром, как рассветет, покажу его тебе: храмы, палаты, сокровища! А желаешь — сама всё обойди, без меня. Как должно хозяйке. Ты будешь у меня жить вольно, не как прежние царицы. Ты ведь мне не только жена, но и сестра! Я — Каин, ты — Каиница, не меньшая меня грешница! Дам тебе свою царскую тамгу — перед нею все люди склонятся, все двери распахнутся, все запоры откроются...

Я не знал, слушает она меня или нет, но здесь в ее лице что-то меняется.

— Какая такая тамга?

— А вон, на малом столе, в ларце.

Тамга — златая пластиница с двуглавым орлом. У кого она в руках — тот изъявляет царскую волю, и никто перечить не смей. Раньше, бывало, я давал тамгу Алексею Басманову, когда он от меня езживал в Москву к боярской Думе. Ныне, редко, вручаю Лукьянычу, если отправляю его к войску или куда-нибудь с карами.

Иринушка берет, рассматривает.

— Покажешь эту дощечку, и все слушаются?

— Все, душа моя! Иначе — лютая казнь. Бери тамгу, будь в Слободе госпожою. Хочешь — иди в мою сокровищницу. Покажи страже тамгу — впустят. Там ожерелья дивные, саженья драгоценные, алмазные перстни. Открой любой сундук, возьми что захочешь!

Наклоняется надо мной. О, сколь прекрасны строгие ее черты!

— Открой уста.

— Поцелуй меня! Царица моя! — умоляю я, повинуясь.

Что это?!

Она сдергивает у меня с головы тафью, комкает, запихивает в рот. Еще и платком поверх привязывает.

Не понимаю. Мычу.

Ирина, подбоченясь, глядит на меня.

— На что ты мне нужен, урод припадочный, жить с тобой, детей тебе рожать? Кого полюблю, тому и рожу. Сыщу себе здорового, ясного, веселого.

Помахивая сверкающей тамгой, идет к двери. У порога оборачивается.

— За дощечку волшебную спасибо. Я с ней за ворота выйду. Мне бы до леса добраться, а там

меня не сыщут. Русь большая, лесов много... Лежи, царь. На картинки свои смотри. Скажу охранникам, что ты не велел заходить, а кто ослушается — на кол.

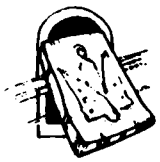
И вышла. И нет никого.

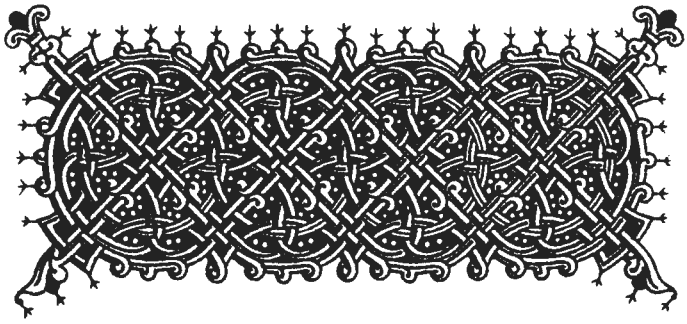
А может, никого и не было. Может, все оно мне примерещилось — прелестное от Диавола видение.

Лежу я в своей хладной опочивальне, на сиротском ложе. То ли сплю, то ли бодрствую. Не могу пошевелиться, не могу молвить слово.

Один аз, бессильный и безгласный перед Господом, Который рек слугам Своим: «Связаше ему руце и нозе, возьмите его и вверзите во тьму кромешную». И вот я ввергнут во тьму кромешную, и бессилен перед судьбой, а все надежды на отраду и любовь — не более чем сатанинская прелесть. Нету мне, Каину, ни утешения, ни пристанища. И поделом мне.

Аминь.





СОДЕРЖАНИЕ

Об Иове Многомученике 5

Об одолении великанов 15

О рабе бесстрашном 21

О тихом острове меж бурных вод 37

О просветлении 45

О жестоковыйном Корнилии 63

О худших меня извергах 77

О великом двоеубийстве 91

О пробуждении 111

Литературно-художественное издание

История Российского государства

16+

Борис Акунин

ЗНАК КАИНА

Повесть

Редакционно-издательская группа
«Жанровая литература»

Зав. группой *М.С. Сергеева*
Ответственный редактор *Т.Н. Захарова*

Подписано в печать 01.08.2018 г. Формат 84×108 $^{1}/_{32}$.
Усл. печ. л. 6,72. Доп. тираж 2000 экз. Заказ № Е-2032.

ООО «Издательство АСТ»
129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 1, комната 39
Наш электронный адрес: www.ast.ru
E-mail: zhanry@ast.ru

«Баспа Аста» деген ООО
129085, г. Москву, жулдызды гүлзар, д. 21,1 құрылым, 39 бөлме
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
E-mail: zhanry@ast.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz
Интернет-дүкен: www.book24.kz
Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию в Республике Казахстан:
ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор
және оның бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92
Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в типографии филиала АО «ТАТМЕДИА» «ПИК «Идел-Пресс».
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2. E-mail: idelpress@mail.ru

«Я всегда это знал: я один из всех человеков чувствую боль по-настоящему. Такое мне испытание от Господа. Прочие на пытке и визжат, и бабьим голосом орут, а все притворство. Им бы, как мне, один денек головной болезнью помаяться…»

Повесть «Знак Каина», часть проекта Бориса Акунина «История Российского государства», описывает один день из жизни Иоанна Васильевича, царя, прозванного Грозным. Целая страна оказалась в заложниках его безумия, хотя сам он считал, что лишь исполняет высшую волю: *«И делается мне по душевной моей благости умилительно. Вот ведь нередко бранюсь я, неблагодарный, на народ мой, а русский народ всех прочих языков возвышенней, Божьей воле и государю своему покорней. Поляки или немцы, да те же татаре давно взбунтовались бы, не стерпев испытаний – и тем огневили бы Господа, и погубили бы свои души. А мои голуби терпят и мою ярость, и мое окаянство. За то и спасутся».*

ISBN 978-5-17-104292-9

9 785171 042929

www.ast.ru